



Сергей ЕСИН
**ДОРОГА
В СМОЛЬНЫЙ**





Сергей ЕСИН

**ДОРОГА
В СМОЛЬНЫЙ**

Июль — октябрь 1917 года

Страницы великой жизни

Москва
Издательство
политической
литературы
1985

Иллюстрации художника И. И. Блюха

Есин С. Н.**Е83** Дорога в Смольный. Июль — октябрь 1917 года. Страницы великой жизни.— М.: Политиздат, 1985.— 240 с., ил.

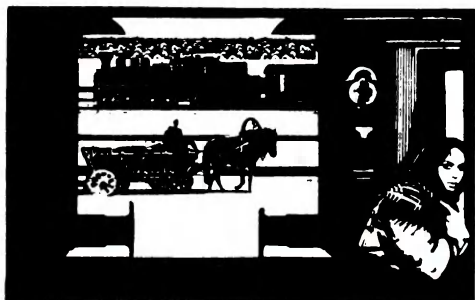
Художественно-документальная повесть писателя С. Есина посвящена жизни и деятельности В. И. Ленина в июле — октябре 1917 г. Она рассказывает о последнем подполье Ильича, о его работе над книгой «Государство и революция», о руководстве подготовкой социалистической революции. На страницах этой книги читатель встретится с соратниками и ближайшими помощниками В. И. Ленина — Н. К. Крупской, А. В. Шотманом, Э. Рахьей, Л. Парвиайнен, Г. Ровио, М. В. Фофановой. Рассчитана на массового читателя.

Е 0103020000—037 76—85
079(02)—85

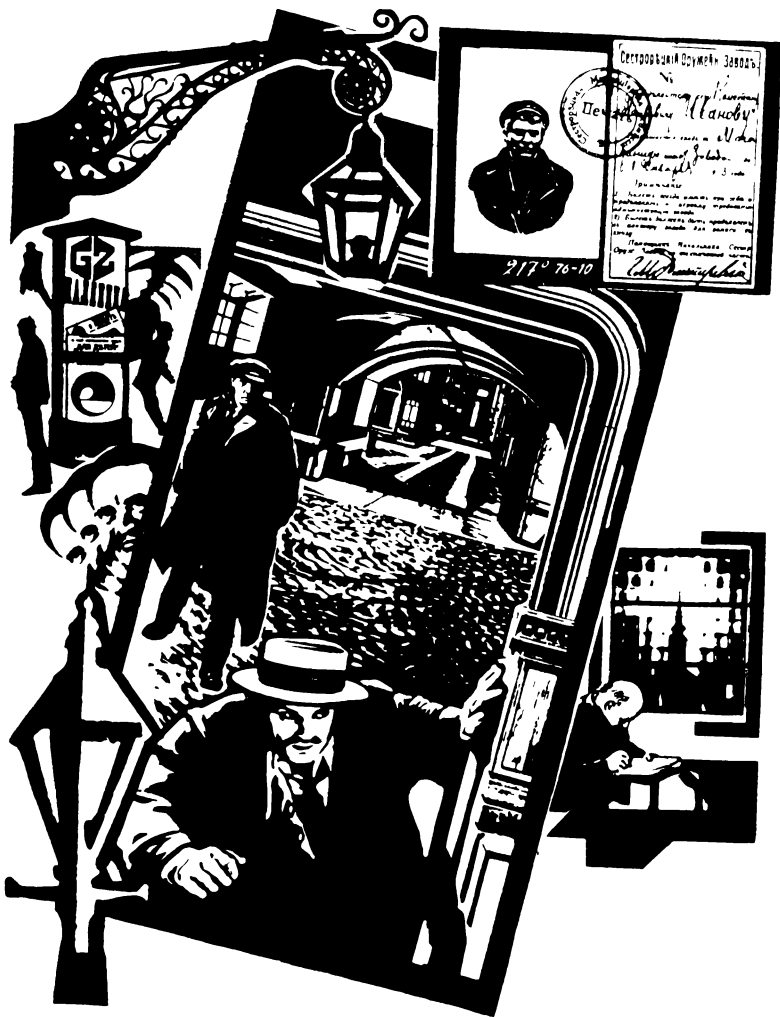
13.50
ЗК26







Воспоминания об августе



Свыше десяти лет назад, во время работы над «Звуковой книгой о Ленине», выпущенной издательством «Правда» и Гостелерадио, мне довелось услышать большое интервью с Лидией Петровной Парвизайнен, старой большевичкой, сопровождавшей Владимира Ильича во время его последнего подполья, начавшегося, как известно, после июльских дней 1917 года, когда Временное правительство расстреляло мирную демонстрацию рабочих. В это же время буржуазные газеты начали бешеную травлю Ленина, распуская грязные слухи о связи большевиков с германской разведкой.

До сих пор помню удивительный голос Лидии Петровны и ее рассказ о подробностях той ночи, когда она вместе с Эйно Абрамовичем Рахьей привезла Владимира Ильича Ленина на хутор родителей возле деревни Ялкала, в двенадцати километрах от Териок.

Как-то, находясь в Зеленогорске, бывшем городке Териоки, я увидел дорожный указатель с надписью: «Дом-музей В. И. Ленина».

Добрался до хутора возле деревни Ялкала (ныне поселок Ильичево). На огромной лесной поляне, разомлевшей от жары,— маленький домик, всеми своими окнами глядящий в лес.

Мне показалось, что я уже был в этом доме. Узнал кухню, в которой Владимира Ильича встретил старый рабочий П. Г. Парвизайнен, и выскобленный до белизны пол в зальце и пристройке, где жил Ленин. На столе у окна — керосиновая лампа. При ее свете рождались страницы книги «Государство и революция»...

«Урок русской революции: трудящимся массам нет спасения от железных тисков войны, голода, порабощения помещикам и капиталистам, иначе как в полном разрыве с партиями эсеров и меньшевиков, в ясном сознании их предательской роли, в отказе от каких бы то ни было соглашательств с буржуазией, в решительном переходе на сторону революционных рабочих. Революционные рабочие, если их поддержат беднейшие крестьяне, одни только в состоянии сломить сопротивление капиталистов, повести народ к завоеванию земли без выкупа, к полной свободе, к победе над голодом, к победе над войной, к справедливому и прочному миру».

В. И. Ленин. Из статьи «Уроки революции». Написано в конце июля. До победы Великой Октябрьской социалистической революции оставалось около ста дней.

Лидия

В Териоках, уже в Финляндии, все пошло не так, как предполагалось.

Лидия выскочила из вагона, как только поезд остановился. Документов здесь не проверяли, но существовал таможенный досмотр. Правда, не такой подробный, как в Белоострове. У Лидии вещей, кроме дамской сумочки, не было, поэтому, быстро проскочив платформу,— как всегда по субботам полную дачников, спешащих на природу,— Лидия перебежала через гулкий, прохладный даже в августе вокзал на площадь. Но брата с лошадьёю не оказалось.

Лидия кинулась туда, сюда, обошла вокруг, чтобы удостовериться, не стоит ли Иван где-нибудь в переулке, но никого не нашла, и у нее возникло чувство тревоги. Ведь все так твердо было договорено: брат подъезжает и ждет на площади.

Она вспомнила, что в Петрограде, когда вернулась от родителей, Рахья и Шотман долго расспрашивали ее обо всех деталях поездки. О том, как она говорила с отцом, что он ответил, с какой интонацией, какое у него было выражение лица. Она договорилась с Иваном и объяснила ему, где их ждать. Она помнила колючий, пронизывающий через стекла очков взгляд Шотмана и холодный и потому непривычный для нее взгляд Рахьи. «Ты понимаешь, Лида, за кого мы несем ответственность?»

И внезапный страх поднялся в душе: что же она теперь скажет Рахье, чем оправдается?

Рахья всегда ей говорил: в критическую минуту нечего рассусоливать, надо действовать, и Лидия вернулась на вокзал, пошла вдоль платформы к хвосту поезда. И тут ее окликнул Иван.

— Да что же ты делаешь, Ваня?

— Мне на площади стоять не разрешили. Я своей телегой вид порчу, и лошадь пугается машины.

— Ну, теперь гони вдоль состава к паровозу.

Иван вывел из-за кустов лошадь, запряженную в простую крестьянскую телегу, и они быстро поехали, обогнув перрон и вокзал, к началу поезда и стали в стороне. Но время, видимо, уже упустили: никого не было. А может быть, что-нибудь стряслось по дороге, еще в пограничном Белоострове?

Чтобы не привлекать внимания, она села в поезд в Петрограде. В Удельную — это всего три остановки — поезд прибыл, когда начинало темнеть, без пятнадцати девять, но она все же увидела в окно, что на перроне поодиночке стоят настороженные Рахья и Шотман. Они должны были сесть здесь. И в Белоострове ей стало ясно, что в поезде едет и четвертый их спутник.

Лидия старательно перебирает в памяти детали. Никакой сутолоки, свистков, криков, топота сапог не было. В Белоострове, как только поезд остановился, юнкера вошли в вагон, двери закрыли. Проверка документов — и сразу таможня. Когда проверка закончилась и всем разрешили выйти, на перроне она снова увидела Шотмана и Рахью. Она прошла по перрону, чтобы размять ноги, но виду не подавала, что знакома с ними. Если случится непредвиденное и их схватят, она не должна вмешиваться, ей необходимо доложить как можно скорее об этом партии. Шотман стоял у следующего, третьего вагона. Лицо у него добродушное, почти улыбающееся, но Лидия видела: улыбочка эта как приклеенная, неживая. Дальше стоял Рахья. Ей хотелось приблизиться к нему, что-нибудь сказать, проходя мимо, коснуться его руки. Нельзя. Краем глаза

в неровном свете керосинового фонаря она видит: карманы у Рахьи оттопыриваются. Она даже немножко боится этой его страсти к оружию. И еще — чисто по-женски — замечает: на пиджаке у Эйно оторвана пуговица, не забыть пришить! И все же Лидия не выдерживает. Недоуменно поднимает плечи: «Где он?» Рахья глазами показывает ей: «Иди обратно, все в порядке». Она только еще замечает, что впереди состава нет паровоза...

И вот Лидия вместе с братом Иваном стоит и ждет. Стоит там, где было условлено, — в конце платформы. Сейчас, в Териоках, паровоз на месте. Издалека она видит в освещенном окне кабины чью-то голову и догадывается, что это машинист Ялава. Если бы не удалось, он, наверное, не стоял бы так спокойно. Ждать. Лишь бы теперь их с Иваном не согнали с этого места. Шотман и Рахья ей наказали: ничего и ни у кого не спрашивать, ждать хоть до утра, пока кто-нибудь из них не придет.

Прошло уже пятнадцать минут. Волнуется, нервничает Лидия, Иван просто ждет: сестра так велела. Иван знает только одно: прибудет Рахья и с ним какой-то дачник. Куда они запропастились?

Наконец показывается чья-то фигура. Коротко блеснул отраженный от стекол очков свет. Шотман. У него нет времени на объяснения. Этим же поездом он уезжает в Гельсингфорс. Не останавливаясь, Шотман успевает шепнуть:

— Я проводил их до шоссе. Догоняйте.

— Давай, Иван, гони побыстрее.

Деревья почти смыкаются над головой вдоль узкой дороги. Темно. Во все глаза Лидия смотрит по обеим сторонам, но знает, что никого не увидит: услышав топот копыт, Рахья и его спутник наверняка отойдут в сторону, в тень. Подать знак первым должен Рахья. Лидия с братом едут в ночь, колеса изредка выбивают искры из булыжной мостовой. Наконец знакомый голос Эйно:

— Стой!

Слава богу, вот они оба, целы...

Лидия видит: от черной стены деревьев отделяются две фигуры. Ленин и Эйно. И Лидия, на секунду теряясь, потому что с трудом привыкает к имени, которым в нелегальных условиях надо называть Ленина, говорит:

— Садитесь, Константин Петрович. Садись, Эйно.— И уже брату: — Ну, трогай, Иван, теперь осталось ничего — всего девять километров...

Константин Петрович

Наконец свернули с шоссе. Была такая августовская темень, что, казалось, если бы не упорная лошадка, смело рысаящая в конюшню и пользующаяся какими-то своими ориентирами в темноте, то поворота на лесную дорогу им ни за что бы не отыскать.

Сразу после поворота началась тряска. Видимо, корни деревьев, прорезав неглубокие колеи, избугрили дорогу, и телега отвечала на эти неровности вздохами и постукиваниями. Ленин прыгнул с телеги первым, потом Рахья и Лидия. Только семнадцатилетний Иван оставался сидеть, сдерживая лошадь, почувствовавшую облегчение и близкую кормушку. Деревья обступили дорогу с обеих сторон, но если посмотреть вверх, то на фоне безлунного неба читались спокойные в безветрии остроконечные вершины елей, редкие сосны, деревья серьезные, привычные к суровостям северных непогод.

По узкой дороге двигались так. Сначала на гроыхающей телеге ехал Ваня. За телегой в некотором отдалении шагал Ленин. Рахья пошел было рядом с ним, но прыгнула Лидия, и Рахья сразу же чуть поотстал.

Ленин вспомнил, как накануне ночью, открыв им дверь и пропуская вперед, Лидия словно невзначай тронула руку Рахьи, и улыбнулся. Ленин хотел по привычке погладить бороду, но рука коснулась будто чужого лица: губы и

подбородок были выбриты. И тут же, коснувшись голого подбородка, рука скользнула к одному виску, потом к другому: паричок, который раздобыл Шотман, вечно отклеивался на висках, но на этот раз все было в порядке, а пузырек с клеем — шеллачный лак на спирту, которым актеры обычно клеят свои камуфляжи, — лежал в кармане.

Слева, довольно далеко, лениво гавкнула собака, потом другая.

— Это деревенские, — очень тихо сказала Лидия. Голос у нее был мелодичный, женственный.

И тут же размеренно и солидно откликнулся на зов деревенских собак какой-то пес поближе.

— Это уже наш встречает, Натти, — сказала Лидия. — Красавчик — по-русски собаку зовут.

— Красавчик? — удивился Ленин, и картавость, которая делала его речь запоминающейся, выводя на более домашний лад, стала заметна. — Очень интересная для собаки кличка. Семья у вас, товарищ Лидия, с большим воображением.

Слева, едва заметный в темноте, потянулся легонький, из жердей, забор — усадьба была уже совсем близко. Лидия объяснила:

— У нас вся усадьба обнесена забором, чтобы деревенский скот не заходил.

— А до деревни далеко?

— Может быть, с километр, но соседи к нам не ходят. У нас хутор. А им некогда. Деревенские в большинстве работают по найму или в городе. Земля не очень кормит.

Хорошо, что деревенские не жалуют эти места, подумал Ленин, будет спокойнее.

В конечном счете он сам обрек себя на такую жизнь, потому что тихой, обывательской не знал и не представлял. Он сам сделал выбор. Как давно это было! Его тогда звали Петербуржец, Старик. Нет, сделал выбор еще раньше. И всю жизнь тюрьмы, ссылки, эмиграция, переодевания. А сегодня ему уже сорок семь, и вот опять: сыщики, пари-

ки, чужие имена. Но сегодня это может стоить ему жизни. Дорога ли ему жизнь? Дорога. Но еще дороже дело, на которое эта жизнь ушла и которое надо завершить, доделать то, что он обязан доделать, — иначе жизнь растрчена. Подумать только — уже «завершить», а ведь студент Казанского университета, Петербуржец, Старик, — все это было так недавно, рядом, не прошло и тридцати лет. Тогда они только начинали свою борьбу. Начинали — так казалось многим — как холодные академисты. Кругом горячая молодежь, желающая идти в народ, поднимать его на бунт. А они, редкие тогда социал-демократы, русские ученики Маркса, почитывают и растолковывают учителя. Маркс многим казался скучноватым, рассудочным экономистом. Да, были горячие, бесстрашные головы. Тираноборцы, дерзкие герои. Люди-порыв. Люди-подвиг. Они-то и доказали своим бескорыстным примером, что летучим штурмом, лихой кавалерийской атакой крепость самодержавия и буржуазии не взять. По Марксу и получилось: нужна долгая и планомерная осада. И нужна гвардия в войске — рабочий класс. Солидные молодые люди не стеснялись заглядывать в статистические отчеты, в списки уволенных с фабрик рабочих, а там на одного «потомственного» фабричного девяносто «потомственных» крестьян. Никого они не хотели выварить в фабричном котле. «Тяжеловатый» Маркс предсказал, что жизнь должна через этот котел пройти. И серьезные, вдумчивые юноши и девушки, так старательно писавшие рефераты по марксову «Капиталу», пошли к фабричным заставам преподавать в воскресных школах, вести рабочие кружки, главным предметом которых стали логика жизни и марксва логика борьбы — за свободу этих вываренных в фабричном котле пролетариев, за Россию без аксельбантов, против извращенного понимания путей борьбы. Крестьянская страна... «Крестьянам присущ коммунистический взгляд изначала». Какая чушь! Его тогдашние союзники — и элегантный Струве, и энергичный Потресов, с

которым он, Ленин, сблизился в те далекие годы на почве борьбы с народниками, оба еще марксисты, легалы, а оказались нерешительны в окончательных выводах. «Медленным шагом, робким зигзагом...» Эдакий умненький буржуазный, профессорский марксизм. Не хочется господам жить в одной компании с «вываренными в фабричном котле». И никуда дальше кадета он, Струве, и тогда не мог двинуться. И так всю жизнь: смелость выводов определяла настоящих друзей. Сейчас эти бывшие легалы — сколько раз они внутренне перекрашивались и переодевались, — став кадетами, меньшевиками, министрами, разглагольствуют с трибуны, потворствуют грязным слухам. Вот она — их родная, профессорская свобода. Вот настоящее лицо этих Струве и Церетели. В их «свободной России» — от кого свободной? от Романовых, но не от капитала, не от буржуазии, не от предрассудков, — в их «демократической России» он снова в подполье, снова в эмиграции. В «свободной России», когда не хватает аргументов, в ход идут клевета и штыки безусых юнкеров.

...Лошадь, резво шагавшая впереди, внезапно остановилась. Ленин увидел, как сидящий на телеге Ваня собрал вожжи и приготовился прыгнуть на землю, чтобы открыть ворота, но Лидия его опередила.

— Почти приехали, — шепнула она.

Воротца скрипнули. Лошадка усердно потянула телегу. Серым пятном проплыла какая-то хозяйственная постройка, и ударила теплая струя нагретого за день молодого сена. Из другой постройки послышалась недовольная возня потревоженной птицы, сонно вздохнула, потершись боком о стену, корова. Звуки были самые мирные, звуки идиллической сельской жизни. И кто-нибудь другой, измотанный городскими хлопотами, так бы и подумал: «Боже мой, на что уходят дни! Бросить все — и сюда, на лоно природы, лежать в гамаке, почитать Чехова и Аверченко». Но В. И. Ульянов, вождь российского пролетариата, член ЦК РСДРП(б), политический деятель, жур-

налист, знал, что такое горький пот неблагодарной крестьянской жизни, и барственные ленивые мысли ему в голову не приходили. Только со всей физически ощутимой тревогой возникло: «Как там в Питере?» Целый день оттуда не было никаких известий. А события разворачивались так быстро и круто, что иное промедление было подобно смерти. И что стало бы с ним, В. И. Ульяновым, скрывающимся по подложным документам на имя сестрорецкого рабочего Константина Петровича Иванова, задержись он в ночь с 4 на 5 июля еще на полчаса, только на полчаса на Мойке в редакции «Правды»?

Сразу же за хлевом, примыкая к нему углом, стояла баня. Обогнув ее, телега остановилась перед низким домиком с невысоким окном, высвеченным керосиновой лампой.

Их встречали.

— Это мама и отец,— предупредила Лидия.

Отец приподнял фонарь с одинокой свечой, который держал в руке, и при этом желтом незначительном свете Ленин разглядел немолодое лицо, массивную голову, мощную шею. У матушки, стоявшей рядом со сложенными под фартуком руками, лицо было доброе: глаза спокойно и приветливо смотрели на гостей.

За последний месяц Ленин сменил уже десяток адресов и всегда, переезжая с одной явочной квартиры на другую, понимал, что хозяева этих квартир — большевики, его товарищи по партии, знающие, кто он и меру своей ответственности за его жизнь перед партией. А здесь впервые случай был особый. Он пришел в этот крестьянский дом, стоящий на окраине леса, под чужим именем, с чужими документами, пришел к людям незнакомым, и сейчас многое зависело от него самого, от его такта, от его умения сходиться с людьми, от этой совсем молодой женщины, Лидии, которая вдруг удивительно твердо сказала, что в дом к ее родителям везти Ленина можно и нужно: в эти отдаленные места шпики и доносчики Временного правительства

не доберутся, и она ручается, там ему будет надежно и спокойно. И думая об этом, Ленин подошел к встречавшим его людям и, первый протягивая руку, услышал совсем юный голос Лидии, сказавшей по-русски:

— Вот, папа, писатель Константин Петрович Иванов, о котором я тебе говорила. Он хотел бы пожить у нас несколько дней.

Подавая руку, Ленин с обостренным чувством человека, по необходимости вынужденного обращать внимание на оттенки поведения окружающих, отметил, что рукопожатие у хозяина крепкое, четкое. В этом рукопожатии не было нарочитой энергии и неискреннего радушия. Ладонь была мускулистой и твердой от привычных мозолей. Рука хозяйки тоже была тяжелой, трудовой, но пожатие — по-женски конфузливое и мягким.

Ужинали на кухне при свете керосиновой лампы. Когда садились за стол, Ленин заметил, что у всех здесь свои постоянные места, и постарался сесть так, чтобы никому не мешать. Хозяйка Анна Михайловна садилась ближе к печке, хозяин Петр Генрихович — во главе стола на венском стуле, который чуть поскрипывал под его грузным телом, а все остальные — на двух лавках вдоль стен. Ленин помедлил возле стола, сел на лавку к окну и тут же обратил внимание, что решилась какая-то маленькая семейная проблема: Лидия и Рахья, которые неуклюже и долго топтались у порога, сразу определились: Рахья сел на скамейку возле Ленина справа, а Лидия слева, ближе к окну. Видя, как Рахья и Лидия, проходя к столу, подчеркнуто старались двигаться по разным сторонам комнаты, а какая-то неведомая сила сближала, соединяла их маршруты, притягивала друг к другу, и тогда они снова демонстративно расходились, Ленин, как и прежде, подумал, что эти молодые товарищи находят что-то общее, взаимно их волнующее и кроме работы в одной партячке. И тут же заметил, что хозяйская семья, видно, крутенькая. Невысокий крепыш Рахья, не унывавший

всю дорогу от станции до усадьбы и раньше — от Разлива до Удельной, так невозмутимо воспринимавший обстоятельства, как будто подчеркивая всем своим видом: да не волнуйтесь вы, ради бога, для нас это — дело привычное, все кончится хорошо, а не кончится хорошо, так мы заставим обстоятельства, чтобы они повернулись хорошо (Ленин вспомнил, как не унывая, бесстрашно шел Рахья по болоту, потом по горевшему торфянику и даже не очень горевал внешне, когда, заблудившись, вышли они к какой-то станции. И тут молча: что поделаешь — надо! — Рахья отправился на разведку. Своей флегматичной походочкой прополировав дачный перрон, он, вернувшись, доложил: «Мы на станции Дибуны. Семь километров до границы. Усиленный патруль из десятка вооруженных юнкеров»), и вот этот доблестный Рахья здесь, на кухне, что-то оробел, под взглядом хозяина его просто не узнать: и руку ему протянул во дворе робковато, и сейчас, когда все едят жареную картошку, сидит, помалкивает, предоставляя Ленину заводить и поддерживать разговор, выглядит эдаким скромницей, милым, угодливым простачком, а не красногвардейцем и боевым товарищем.

Да и Лидия, такая решительная и быстрая, так безостановочно щебетавшая с Рахьей и в Удельной и на квартире у Эмиля Кальске, Лидия, так четко и определенно сказавшая «да», когда Шотман и Рахья спросили, можно ли его, Ленина, отправить к ним в деревню, сумевшая быстро съездить к родителям, договориться, — здесь, в отчем доме, слишком уж стесняется. Краснеют щеки товарища Лидии, все это, конечно, видят, но молодые стараются, чтобы их тайно-явные отношения — пожалуй, даже не для всех, а для ее родителей — казались бы отношениями выпускников классической гимназии. Видимо, строга у Лидии семья. Начинаясь двадцатый век сюда не дошел, а человеческие отношения решаются по традиции: познакомились, перемолвились, посватались, поженились.

Ленину приятно было наблюдать отношения молодых людей. Это рождало и свои какие-то удивительно юные воспоминания: нежность сначала к матери и сестрам, которую он пронес через всю жизнь и которая так поддерживала его в трудные минуты, а потом чувство к Надежде Константиновне — самому верному товарищу и единомышленнику. Ведь они с Надеждой Константиновной — как, судя по всему, Лидия и Рахья — узнали друг друга, выполняя общую партийную работу, их объединяло общее дело, да и поженились, находясь в одном состоянии — политических ссыльных. И Ленин дрогнул, вспомнив последнее свидание с женой.

...Трудный июль. В самом конце июня началось поражение русской армии на фронте. Волновались войска в Петрограде. Заводы и фабрики забастовали. ЦК дал лозунг превратить демонстрацию в мирную. Огромная масса рабочих и солдат двинулась к Таврическому дворцу. Временное правительство, поправ право народа на демонстрации, вызвало юнкеров и казаков. В ту ночь разгромили «Правду». И тут же газетная клевета о шпионаже. После попытки подавить народ штыками — попытка опорочить его вождей. В этом, конечно, была маленькая обывательская логика.

Ну и что ж, буржуазная пресса знает, чей она жует хлеб. В заметочке, с которой начался обстрел партии, приведены и подробности. Господа буржуазные журналисты получили добротное воспитание. В детстве им, наверное, читали сказки Гауфа и сказки Перро. Они люди не без воображения и знают, чем потрясти своего читателя. Прапорщику Ермоленко, провокатору, офицеры немецкого генштаба дали, оказывается, такое же задание, как и вождю российского пролетариата: «Агитация в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией». Ни больше и ни меньше! Оплата — по высшему разряду. Ах, как складно, как доказательно! Что за радость для лавочницы, для купчихи, для хозяйки

трактира с отдельными кабинетами! Лавочница наконец может высказать все своей кухарке, которой солдат из пулеметного полка каждый вечер объясняет, как бы они зажили, если бы у них с кухаркой был клочок земли и, пока он, солдат, еще цел, закончилась бы война. Заскорузлый мужик в солдатской шинели распропагандирован главным большевиком Лениным! Это его идеи о немедленном конце войны! Это он излагал такие дурные мысли с балкона дворца мадам Кшесинской. А как же ей, лавочнице, жить? Ведь в войну конъюнктура особая, цены растут!

Нет, она, лавочница, не царская любовница, не Матильда Феликсовна, которая по деликатности позволила, чтобы ее выставили из подаренного царем дома. Лавочницу голыми руками не возьмешь. Она знает свои права. Она выскажет все, что думает, об этих беспокойных порядках, об этой социальной справедливости, будь она проклята. И не только кухарке. Что же, у нее и газеты своей нет? Да пруд пруди у нее газет! И «Новое время», и «Новая Русь», и «Народный трибун». А кто читает «Пролетарское дело» и московского «Социал-демократа»? Пускай оправдываются. У нас свобода печати. Нет, ее личные газеты ее не подведут. Ведь их и солдаты читают, и рабочие видят, пусть теперь большевики и схватятся, что кого ни зря в своих кружках грамоте обучали. Пусть все читают. А мы слухам поможем. Мы ведь тоже не без фантазии.

Ох, некругло у вас, господа, получается.

И солдаты не поверят, и крестьяне не поверят, и сознательные рабочие не поверят. Ни один здравомыслящий человек не поверит в правый суд этого правительства. Он, бывший помощник присяжного поверенного Ульянов, знает все уловки буржуазного суда. Разве ему нужен адвокат? Как бы в открытом судебном заседании расправился он с господами судьями, господином прокурором, с господами свидетелями! Каким бы судом обернулось все это для эсеров, меньшевиков, для всех господ, жаждущих истины! Какие удивительные истины о положении

рабочего класса, о коррупции буржуазии, о том, кому нужна и выгодна эта война «до победного конца», сделал бы Ульянов достоянием буржуазной судебной гласности! Правы были его близкие и самые трезвые товарищи по партии: суда не будет. Его пристрелят раньше при «попытке к бегству». Разве не найдет подходящего повода добропорядочная буржуазная Фемида, через щелочку в повязке наблюдающая за происходящим, чтобы не дай бог не обидеть своих? Он, Ленин, вождь российского пролетариата, понимал опытом революционера, опытом взрослого, много повидавшего человека, что на суд идти ни в коем случае не надо, но тот, с юности горячий Ульянов, Ульянов, оскорбленный всей этой публичной ложью, уже почти решился идти. Разве честь Ульянова не стоит его жизни?

Он вспомнил свою самую первую после 4 июля нелегальную квартиру на набережной Карповки, у Марии Леонтьевны Сулимовой. Старые деревья на набережной, вход в глубине двора. Третий этаж чистого подъезда с кремовой и голубой плиткой на полу. А потом выяснилось, что при налете юнкеров на особняк Кшесинской, где помещались ЦК и Петербургский комитет, захвачены документы Военной организации партии, почти на каждом из которых стояла и подпись Марии Леонтьевны.

— Ну что, товарищ Сулимова, придут к вам с обыском. Вас в самом худшем случае арестуют, а меня, наверное, «подвешат».

Пришлось уходить. В тот день он поменял несколько адресов. А 7 июля на квартире у Сергея Аллилуева наступил момент колебаний. Разве честь Ленина не стоит жизни Ульянова? Он сам приводил доводы за явку на суд. Хорошо, что так горячо возражала Мария, сестра. Хорошо, что настояли на неявке товарищи на совещании членов ЦК, собранном здесь же, в квартире Аллилуева. Хорошо, что так настойчиво протестовал против явки Орджоникидзе. ЦК вечером принимает решение: Ленину оставаться

на нелегальном положении. А еще днем он говорил жене, что решил явиться на суд, давай попросимся. С каким же чувством она ушла? Как там она сейчас, в Петрограде?

...За столом Ленина поначалу смутило молчание. Все ели молча. Только хозяин изредка что-то говорил по-фински, и тогда с места срывалась или Анна Михайловна, или Лидия и появлялись еще один нож, чашка, полная свежих ягод, или хлеб. Но Ленин понял, что здесь царит прочная крестьянская привычка: уважение к хлебу насущному, и потому все молчат, отвечая лишь на вопросы отца. Самого же Ленина хозяин, по врожденной деликатности, беспокоить вопросом не решался, а может быть, стеснялся своего не очень чистого русского. И Ленин решил начать разговор сам:

— Я слышал, Петр Генрихович, что вы раньше работали на заводе? Так, значит, снова решили крестьянствовать?

Хозяин с готовностью ответил:

— Дело к старости, Константин Петрович, видите, дети какие большие и взрослые, а ведь это не все: еще двое в Петрограде, да здесь трое малышей спят. Плохо мне стало в литейке. Там жарко, пить приходилось очень много, вот почки и начали сдавать.

— Ну и хватает, чтобы жить своим хозяйством?

Расспрашивая рабочих, крестьян, людей любых сословий, Ленин входил в азарт. Глаза у него сразу загорались острым блеском, и на внимательном лице появлялось то особое любопытство, которое появляется на лице естествоиспытателя во время важного исследования.

— Не хватает, Константин Петрович, ртов много. Мне приходится и землей заниматься, и печи по хуторам класть, и шорничать, и извозничать. Старшие ребята с землей помогают, но ведь здесь у нас не чернозем.

— Но, может быть, пока работали на заводе, что-нибудь поднакопили? Вы, кажется, мастером были?

Должность серьезная. Усадьба у вас, как я заметил, пока ехали, не очень маленькая.

— Усадьба три гектара, но она принадлежит моему брату.

— А он у вас человек состоятельный?

— Он, наверно, удачливее меня и, может быть, умнее. Завод у него есть, на этом заводе я и работал.

— А мастер, специалист вы были хороший?

— Пришлось, Константин Петрович, пришлось быть и хорошим и добросовестным. Работал на заводе родного все-таки брата.

— Вот поэтому ваш хозяин-брат и богател,— сказал Ленин и очень дружелюбно рассмеялся.

Улыбнулся и хозяин, своей улыбкой дав всем команду для более непринужденного поведения.

А Ленин, почувствовав прямодушную открытость собеседника, продолжал:

— Я ведь, Петр Генрихович, тертый калач. Писатель по роду своей деятельности должен знать не только человеческое сердце. Пока я не очень верю, что ваш брат — ведь он капиталист — просто так, из братских чувств отдал вам эту усадьбу.

— Ну, отчасти вы и правы, не совсем даром отдал,— не сумев скрыть смущения, сказал хозяин и нагнул голову над тарелкой.

Ужин закончился удивительно ладно и весело. Петр Генрихович принялся рассказывать Ленину, какие у них на редкость грибные и ягодные места. Что если бы не десяток верст от железной дороги, то от курортников не было бы отбоя. И все, уловив хорошее настроение хозяина, тоже стали хвалить места, грибы, соседние озера с купаниями, сенокосы. Даже молчаливый Ваня тоже вмешался в разговор. «Прямо за домом,— начал он объяснять преимущество этих сельских мест,— болотце, так там столько черники, что петух кур туда водит лакомиться ягодой».

И лица при этом разговоре у всех были хорошие, ясные. Только Рахья сидел чуть серьезнее обычного.

Ленин тоже поддался беззаботной стихии вечернего разговора, внезапно заметил, что у него появилось детское, легкомысленное желание, чтобы утро скорее наступило и он увидел бы и этих лакомок-кур, и озеро с таким заманчивым и волнующим названием — Красавица. Он подумал, что ему здесь, наверное, будет спокойно. Передышка? Это, пожалуй, был у него один из немногих вечеров последней поры, когда его почти ничего не беспокоило. Может быть, слишком устал и перенервничал? Казалось, дружная атмосфера этой семьи, какая-то нереальная тишина вокруг разливали умиротворение. Ленина смущало только одно: разговаривая, отвечая на вопросы, он иногда ловил на себе долгий и внимательный взгляд светлых глаз хозяина. И тут же, хотя привык к постоянной осторожности и собранности опытного конспиратора, успокаивал себя: «Все же новый человек в их глуши, ему интересно, приглядывается».

Когда была допита последняя чашка чая из самовара, хозяин сказал:

— Пора спать, Лидия, покажи Константину Петровичу его комнату.

С юности, хотя по природе был человеком общительным, Ленин любил одиночество. А так сложилось, что все последнее время он был на людях. Предыдущие сутки на квартире в Удельной вместе с Шотманом и Рахьей. За стеной плакал ребенок. Была тяжело больна жена хозяина. Дни в Разливе, споры с Зиновьевым, во время которых возникла трещина в отношениях, которую он не преодолел и (теперь понимал), наверное, не преодолет, потому что споры возникали не вокруг личного, а по поводу главного — близкой социалистической революции, путей развития партии. Он ощущал желание собраться с мыслями, подытожить продуманное. И, кажется, здесь он это сделает.

В «его» комнату вел отдельный ход со двора.

Лидия зажгла лампу на столе у окна, и при ее свете Ленин увидел узенькую комнату с печкой, выскобленным до желтизны полом и стенами, аккуратно зашитыми строгаными досками. Перед железной кроватью лежал половичок. У стола стул венской добротной работы.

— Это «молочная» комната...

— ...Константин Петрович,— быстро перебил Лидию Ленин, увидев, что губы у нее складываются, чтобы произнести его настоящее имя.

— Это «молочная», Константин Петрович, комната,— виноватым тоном продолжала Лидия.

Может быть, она думала, что Ленин привык жить в хоромах, приличествующих человеку, за голову которого Временное правительство готово отвалить такие деньжищи? И разве она не видела, как прошлую ночь проспал он на газетах? Он сам иногда удивлялся, как мало ему надо. В бывшей комнате покойной матери в квартире Анны Ильиничны, где они поселились с Надеждой Константиновной после приезда в Питер в апреле, стояли письменный стол, материнское мягкое кресло и две такие же, почти как здесь, в бывшей «молочной», узкие кровати. И еще стоял платяной шкаф. Ленин тогда без всякой рисовки сказал: «Так как весь мой гардероб, имея в виду пиджак, уместается на гвозде, то лучше бы этот шкаф превратить в книжный».

Отчего же так переживает из-за скромности его временного жилища эта милая молодая женщина?

— Эта комната,— продолжала Лидия,— служила предыдущим хозяевам по назначению. У них, наверно, было несколько коров, и здесь сцеживали творог, хранили сливки и отстаивали молоко, но у нас только одна корова.— Действительно, при одной корове и такой семье не до творога и сметаны — этой барской еды! — И мальчишки организовали здесь что-то вроде мастерской.

— Комната, Лидия Петровна, мне очень нравится.

— Спокойной ночи, Константин Петрович.

— Спокойной ночи, Лидия Петровна.

Перед тем как закрыть за Лидией дверь, он постоял на порожке. Тихо. Прибежал откуда-то из темноты Красавчик. Обнюхал, признал, потерся о колено. Потом отбежал на шаг, резко отряхнулся. Где он только рыскал? Невидимые брызги полетели во все стороны. «Мы были, наверное, такие же мокрые, когда заблудились по дороге из Разлива и лазили по болотам. Только не такие жизнерадостные». Снова тишина. Облака разошлись, открыв чистое, в горячих звездах небо. «А ведь когда-то,— подумал он,— я знал каждое созвездие. Все забыл». И тут же прогнал эту мысль. Наконец-то он остался один. Ровно и сильно забилося сердце. Может быть, это состояние писатели и поэты называют вдохновением? Долгожданная, предвкушаемая работа, уже почти слаженная у него в сознании. Как не терпится за нее сесть!..

Он закрыл дверь.

День сегодня выдался нелегкий даже для него, привыкшего к трудностям и опасности. Надо бы лечь спать, чтобы проснуться завтра готовым к работе. Утром, как он давно понял на опыте, ему работалось лучше всего, впрочем, ему всегда работается хорошо.

Ленин еще раз оглядел комнату. Его ждали: гость он не навязанный, а жданный — все чисто, выскоблено, белая занавесочка на окне, а лампа — он осторожно, чтобы не сбросить ненароком стекло, покачал ее — полна керосина. Ленин с некоторым сожалением — ведь решил спать! — посмотрел на вычищенную, с незакопченным стеклом лампу: после Разлива, где он был лишен удобств работы, к цивилизации, даже такой скромной, приходилось привыкать заново,— и с удовольствием подумал, что впервые за много дней растянется не на газетах, не в стогу сена, а на настоящей, как у всех людей, кровати. Он откинул в сторону одеяло и тут все же достал из бокового кармана пиджака заветную тетрадь.

Эту тетрадь он завел еще в Цюрихе. Весь последний период эмиграции его обостренно занимал вопрос о характере пролетарской государственной власти. Впрочем, само время с начала войны, с четырнадцатого года, подталкивало его к этому. К этому вела и логика его деятельности как философа и политика. Он всегда занимался насущными вопросами времени.

Беседуя за границей с приезжающими товарищами, он предчувствовал новую революцию, как птица — скорый перелет. Но время подталкивало не только его. С теми, кто отстаивал полумарксистские, полуанархические взгляды на диктатуру пролетариата и государство, он сумел публично, через прессу, поспорить, но мысль о необходимости теоретической разработки его не оставляла. Надо было не только продолжить линию борьбы с царизмом, борьбу за права рабочего класса — это все было в резолюциях партии и этого он никому не собирался уступать, — но должна была произойти очистка от назревших нелепостей, теоретически неверного отрицания «вообще» защиты отечества, шатания в вопросе о роли и значении государства... Тогда и возникла тетрадь синего цвета, куда он мелким почерком заносил, что говорили о государстве Маркс, Энгельс, сюда же он вписывал цитаты из Каутского и Бернштейна со своими замечаниями. Он привык в трудные минуты обращаться к Марксу и Энгельсу, потому что с холодной объективностью ученых они вывели основные законы науки об обществе. История, которая творится повседневно, показала правильность их выводов. Жизнь каждый день убеждала, убеждала со всей наглядностью, что идет, как предсказали они. И по этим законам собирается двигаться дальше. Ленин с увлечением засел в Цюрихе в библиотеке, собрал почти весь материал для книги, но когда свершилась Февральская революция семнадцатого года, заторопился на родину, «в дело». Начались странствия через воюющую с Россией Германию, потом Швецию, окончившиеся

на площади возле Финляндского вокзала. Но тетрадь пришлось оставить на полпути. В Россию придирчивый таможенный контроль мог ее и не пропустить. А для него тетрадь была очень дорога. Потому что это был его интеллектуальной и политической жизни. Из Разлива Ленин просил жену: если тетрадь из Швеции пришла, переслать ему в душистое озерное подполье. Но начинался Шестой съезд партии, руководство им издали отнимало все силы. А план будущей работы был уже ясен. Определен подзаголовок: «Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции». Вырисовывался заголовок: «Государство и революция».

Еще не открывая тетради, Ленин вспомнил, как в Разлив к нему приезжал Орджоникидзе. Они говорили о том, что июльский переворот определил не только начало бонапартизма в России, но и крах многих иллюзий. Россия с замечательной быстротой пережила целую эпоху, когда большинство народа доверилось мелкобуржуазным партиям меньшевиков и эсеров. И теперь началась жестокая расплата трудящихся масс за эту доверчивость. В этих условиях партия обязана думать о взятии власти. Он, Ленин, тогда сказал Орджоникидзе: меньшевистские советы дискредитировали себя; недели две назад они могли взять власть без особого труда. Теперь они не органы власти. Власть у них отнята. Власть можно взять теперь только путем вооруженного восстания, оно не заставит себя долго ждать. Восстание будет не позже сентября—октября. Ленин помнил ошеломленный вид Орджоникидзе. Как же так, нас только что расколотили, а большевистский вождь сидит в стогу сена и предсказывает победоносное восстание. Но до этого должна совершиться большая, серьезная работа. Партия ясно и громко должна сказать народу правду, сказать, что при Временном правительстве народ не получит мира, крестьяне не получают землю, рабочие не получают восьмичасового рабочего дня, голодные не получают хлеба.

Ленин открывает тетрадь, и сразу же бросаются в глаза знаменитые слова Энгельса: «Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, т. е. средств чрезвычайно авторитарных...»

Ну что ж, здесь есть над чем поразмышлять. Он напишет книгу не только об истинном учении марксизма о государстве и революции, но и о сегодняшнем дне. И сразу же вспомнился конец разговора с товарищем Серго. Он, Ленин, тогда сказал, что революция произойдет не позже сентября—октября. И тут же дал тактическую идею: «Нам надо перенести центр тяжести на фабзавкомы. Органами восстания должны стать фабзавкомы».

Лидия

Разместились так: хозяйева с детьми в большой комнате с печкой, на ночь ее иногда подтапливали, поэтому все жались туда. Хозяин с хозяйкой на большой кровати возле окна в углу, на другой кровати у двери Эверт, Федя и шестилетний Вернер — трое младших; напротив печки на козелках, крытых досками, — Иван, а Лидию, старшую, приезжавшую из Петрограда только по воскресеньям, положили, как обычно, в «зале».

Рахья, который за последнее время бывал здесь несколько раз, устроился по традиции на сеновале.

Лидия слышала, как быстро разделся и улегся Иван, младшие посапывали уже с вечера, потом дунула на лампу мать: под дверью в щели вспыхнул отблеск огня, и стало совсем темно. В доме было тихо, лишь с сухим треском лопнет бревно в венце, да скрипнет задравшийся гонт на крыше. Привычно, тихо, спокойно. И вдруг она услышала, как в окно будто бы ударили горошиной. Сердце у Лидии екнуло. Она вскочила босая с постели и увидела:

за окном маячит тень. Боясь скрипнуть половицей, Лидия подбежала к окну, прижалась лицом к раме: за стеклом лицо Эйно Рахьи. Знакомое, дорогое лицо. И тут же то ли вспомнила, то ли увидела его дерзкие, настойчивые глаза. «Иди сюда»,— беззвучно, одними губами, сказал Эйно и махнул рукой. Сердце у Лидии забилось сильнее, как всегда последнее время, когда она смотрела на Эйно или когда просто находилась с ним в одной комнате, но она испуганно сложила губы и нахмурилась, потом закрыла глаза: «Нет, нет». Эйно снова только губами прошептал: «Иди сюда». Лидия, придерживая рубашку на груди, помахала рукой, так же беззвучно ответила: «Это невозможно. Прошу тебя, Эйно, иди спать». Эйно медленно покрутил головой: «Не пойду».— «Ну иди, Эйно». И так они долго еще стояли, и Лидия говорила: «Ну пожалуйста, Эйно». А Эйно улыбался своей отчаянной веселой улыбкой и только губами отвечал ей: «Ни за что!» — «Но ты же умница, Эйно. Ты же все понимаешь»,— шептала Лидия и вдруг на губах у Эйно прочла: «Ты молодец, Лидия. Ты настоящий товарищ, я тебя люблю». Или ей это померещилось? «Что? Что?»

И они оба продолжали стоять по разным сторонам окна, и под ногою у Эйно ни разу не хрустнул сучок или камушек, а в доме не скрипнула половица...

После того как она попрощалась с Эйно, сон не шел. Лидия лежала на узкой постели и думала о том, как изменился ее мир, когда в нем появился Эйно. Разве ей нечего было вспомнить за свои двадцать пять лет? Она лишь выглядит такой subtilной. Ей все говорят: гимназистка, школьница. Хотелось бы ей взглянуть на тех гимназисток, которые работают с четырнадцати лет. Но, впрочем, у Лидии своя теория: потому и моложава, что стариться некогда,— все время в работе. Пока парни росли и мама брала надомную работу, кто с братьями сидел и их нянчил? А как чуть подросла — правда, и сей-

час не шибко высокая, кнопка, пигалица,— тут все за-вертелось: получила высокую специальность продавщицы и звание «барышни». Что у нее после рабочего дня больше болело: язык или ноги? «Благодарю, мадам», «Пожалуйста, мадам», «Что прикажете подать, мадам?», «Вы уже меряете восемнадцатую блузку, мадам», «Вы не будете покупать?», «Возможно, мадам, новую партию блузок мы получим в конце следующей недели». А после закрытия магазина все надо было убрать, разложить, вытереть пыль. С юности Лидия поняла, как возникает прибавочная стоимость. И все-таки ей повезло: выучилась на курсах счетоводов, потом стала бухгалтером и в пятнадцатом году уже работала в Скобелевском благотворительном комитете помощи раненым. В комитет приходили солдаты, демобилизованные с фронтов. Бородатые, бритые. Молодые, старые. Женатые, холостые. Иногда ругались, кричали, ломали свои костыли, рвали на груди гимнастерки, бросали на пол заслуженные кресты на оранжево-черных лентах, иногда плакали, чаще просили. Газетные заниженные — чтобы народ не поддавался панике — сведения здесь приобретали свой реальный, конкретный облик. Лидии иногда казалось, что целого человека на земле нет. За что они воюют? Солдаты тоже часто спрашивали: «За что мы воевали? За что?» Солдаты политэкономия ведь не изучали. Солдаты, если умели читать, самостоятельно осваивали устав; если не умели, учили «с голоса». А в уставе о переделе мира между буржуазными государствами и монополиями в эпоху империализма ничего не сказано.

Во время работы в Скобелевском комитете Лидия встретила Эйно. Знакомы они были раньше — как знакомы между собой многие их соотечественники, покинувшие финские хутора в поисках хлеба и работы,— но тут встретились нос к носу. Отчего же она так внезапно покраснела? Был Эйно невысок, плечист, чуть выше ее.

И Эйно Лидию знал раньше. А тут пристально посмотрел, взгляделся. Глаза у него от удивления даже округлились. Но Эйно был парень находчивый, ему палец в рот не клади.

— Когда же ты успела вырасти, Лююи?

— Я старалась и росла,— сказала Лидия, подняла лицо и из-под пушистых ресниц посмотрела прямо ему в глаза.— Росла для папы с мамой.— И шевельнула плечом, будто собралась идти дальше.

Но Эйно был человек упорный.

— Подожди, не торопись, папа с мамой тебя еще увидят...

Рахья жил на Кронверкском проспекте на Петроградской стороне, Лидия — в Певческом переулке, по другую сторону Каменноостровского проспекта. В то горячее время они не только ходили на митинги и демонстрации. Иногда они гуляли по Петроградской, иногда отправлялись на левую сторону Невы смотреть «другую» жизнь: со швейцарами, горничными в белых фартучках. Рахья «шлифовал» ее, Лидии, политическое образование. Теперь она, пожалуй, и сама, пусть и не совсем владея терминологией, могла объяснить отличие войн справедливых от захватнических. Лидия поняла из неторопливых речей Рахьи, что есть, конечно, русские, финны, латыши, немцы, евреи, французы, но есть и «всемирная нация» — пролетариат с его опытом классовой борьбы (о классах Лидия слышала уже раньше). А у Рахьи опыт был. С тринадцати лет он постигал классовый подход к действительности. И так четко этот подход себе сформулировал, что без колебаний стал членом РСДРП. Эйно Рахья принадлежал к породе людей, которые зреют рано, вступил в партию в 1903 году, восемнадцати лет. К началу 1917 года сильно обогатился опытом пропагандиста. И если девушка ему очень нравилась...

Рахья звал ее к себе в гости на Кронверкский, но Лидия была воспитана в твердых правилах и приглашала

Рахью в гости к себе, в Певческий, где жила вместе с братом, который начинал работать в Петрограде слесарем.

Со двора-колодца они поднимались по лестнице вверх.

— Ну подожди, Лидия, что ты так торопишься, так бежишь,— говорил Рахья,— на лестнице давай стоим.

Но она — каблучки тук-тук! — бежала по бесконечному коридору в квартиру 344: маленькая комната, метров десять квадратных, кровать, оттоманка, за занавесочкой умывальник и посуда. Они сидели втроем: Лидия, Володя и Рахья. Пили чай. Рахья глядел на Лидию. Володя делал вид, что читает книжку, а сам наблюдал за «молодым человеком» сестры... Нет, пожалуй, здесь определенная ошибка в терминологии. Сначала все же был не «молодой человек», а товарищ, потому что товарищ Эйно Рахья (партбилет № 18) рекомендовал в партию товарища Л. П. Парвиайнен (партбилет № 162). В анкете при вступлении Лидия Парвиайнен написала: «Оружием владеть умею: ружье и револьвер». У Рахьи была мужская страсть к оружию. А может быть, классовая страсть к авторитарным средствам? У Лидии была страсть к Эйно. И если Эйно состоит в Красной гвардии, то владеющая оружием Лидия тоже в нее вступит. Мужчины так неосторожны, так невнимательны.

В июльские дни, после разгрома юнкерами «Правды», когда Временное правительство искало любых поводов, чтобы изолировать, арестовать большевиков, она не испугалась за себя. Она в первую очередь испугалась за Эйно. Уже арестовали его младшего брата Юкку — члена Петербургского комитета. Уже вожди партии ушли в подполье. Рахья все чаще допоздна засиживался у нее в Певческом переулке, стараясь попозже возвращаться к себе на Кронверкский. Они втроем — Лидия, Рахья и брат Володя — до глубокой ночи сидели и пили из самовара чай. Лидия смеялась, рассказывала о работе,

не подавая вида, что все время прислушивается к шагам в коридоре.

Последнее время все чаще стал появляться в Певческом Шотман. Они о чем-то шептались с Рахьей. У Лидии на душе делалось тревожнее: она боялась за Рахью, за Шотмана, за партию, за Ленина, о котором черносотенные листки писали, что он веселится с дамами в Стокгольме или что на немецкой подводной лодке уплыл в Германию и там тоже веселится аналогичным образом — у черносотенных газеток воображение было на уровне интеллекта их читателей. Газеты писали, а юнкера, по слухам негизетным, упорно искали его в окрестностях Петрограда, потому что шел Шестой съезд партии, и по тому, как он проходил, в резолюциях, в позиции Центрального Комитета чувствовалась крепкая ленинская рука.

До июля Лидия уже близко видела Ленина, потому что с партийными поручениями бегала в особняк Кшесинской, где на втором этаже помещались ЦК и Петербургский комитет, была знакома с Надеждой Константиновной, но, главное, видела Ленина в незабываемый апрель, потому что Рахье в тот день было поручено вместе с другими товарищами обеспечить порядок на Финляндском вокзале. А разве она, Лидия, уже не стала красногвардейцем? Порядок был образцовый. Она запомнила прожектора, с Петропавловской крепости освещавшие путь от вокзала до особняка прима-балерины Мариинского театра. Запомнила стальные глаза Рахьи на привычно беззаботно улыбающемся лице, запомнила лица встречающих Ленина рабочих. И еще она подумала, по-русски про себя выговорив это слово, когда увидела Чхеидзе и Скобелева, в качестве официальных представителей Петроградского Совета засевших в бывших царских комнатах: «Вот лицемеры». Но тут же, разглядев приехавшего Ленина, с женской пристрастной ревностью отметила: роста Ленин почти такого же, как и Рахья. Рахья, может быть, чуточку пониже.

Она старалась не слушать, о чем говорили Шотман и Рахья, но несколько раз упоминалось и ее имя, и каждый раз сердце у Лидии сжималось, потому что хотя она и владела оружием, но по характеру была трусиха. Она ждала, что какой-то разговор должен состояться и с нею, но сама не спрашивала, да и бесполезно: у балагура Рахьи и полсловечка не вытянешь о партийных делах. И она, чтобы не мешать, старалась вместе с Володей куда-нибудь уйти, постоять на улице у подъезда, походить по переулку, подышать воздухом, да заодно и присмотреть: не идет ли кто-нибудь из непрошенных.

Наконец этот разговор состоялся.

Они были втроем: Эйно, Шотман и Лидия. Начал Шотман.

— Есть решение ЦК переправить товарища Ленина в Финляндию. Не смогли бы на несколько дней приютить его у себя твои родители?

— Конечно. Но это же Ленин,— растерялась она.

И тут встретилась взглядом с Эйно. Он смотрел на нее так, как не глядел никогда,— обычно на лице у него играла улыбочка,— жестко и требовательно.

— Мне надо спросить у родителей.

— Тебе сначала надо все решить и взвесить самой,— сказал Шотман.— Ленин поедет и будет жить не под своим именем. А ты ведь знаешь, что есть приказ Керенского об аресте Владимира Ильича. Такой приказ получил и генерал-губернатор Финляндии.

— Я в своих родителях уверена. Но ведь возможны случайности.

— Случайностей быть не должно,— отрезал Шотман.

— Случайностей не будет,— сказал Рахья и сразу же — он ведь недаром давал ей рекомендацию в партию, а может быть, он и знал ее лучше, чем она сама себя? — сразу же заговорил, как о решенном: — Ты ведь ездишь, Лююи,— до этого он называл ее так, ласковым финским именем, только когда, сбросив с лица бравую маску,

начинал заикаться и все порывался что-то ей сказать, а может быть, спросить,— ты ведь ездишь по субботам домой повидать родителей. Поговори с отцом. Поговори, Лююи,— и посмотрел на нее так преданно и так нежно, что она поняла: в эти минуты решается не только важнейшее партийное дело, но, может быть, и вся ее дальнейшая жизнь.

— Я уверена в согласии отца, но я поговорю.

По субботам летом, сразу же после работы, она обычно уезжала к родителям — от Петрограда всего пятьдесят километров. И каждую субботу к станции за ней приезжал или сам отец, или брат Иван. Утром в воскресенье она ходила в лес, чтобы набрать ягод, которые увозила с собой,— разнообразие в скромном рационе конторской барышни. Иногда успевала помочь матери по хозяйству, но самое главное — бесконечная тишина, запах хвои, таинственная красота двух озер, куда она с братьями ходила купаться, давали заряд бодрости на целую неделю. А потом за субботу она успевала немножко подкормиться на деревенских харчах. Конечно, несмотря на все это, с большим удовольствием она осталась бы в городе вместе с Рахьей, но в семье свой порядок, и незамужняя дочь была обязана по субботам показываться родителям. Так сказал отец.

...Впервые она ехала по знакомой дороге с таким тревожным чувством. Белые ночи уже кончились. Но темнело еще поздно, и всю дорогу Лидия всматривалась в очертания пригородных дач, примечала рельеф местности, другими глазами оглядывала дощатые перроны железнодорожных станций. Впервые с особым вниманием она вглядывалась и в лица попутчиков. Ехали рабочие, возвращающиеся из Питера после смены, много было железнодорожников, огородников, везущих с рынков пустые корзины. Эти жались ближе к тамбурам, но в основном публика здесь была сытая, беспечная. Девушки флиртовали с раскормленными гимназистами, хохотали,

опуская пальчики в фунтики с орехами и рахат-лукумом. Пожилые чиновники, увешанные сверточками и коробками от Елисеева, веселые дачницы, ездившие в город встряхнуться и почистить перышки. Читали газеты, обсуждали дороговизну жизни, беспорядки, возмущались положением на фронте.

Ближе к финской границе народу в вагоне становилось меньше, а на станциях — больше юнкеров, жандармов, скучающих среднего возраста господ с тросточками, которые, расхаживая в светлых брюках по перронам, так старательно демонстрировали свою скуку, что все без исключения понимали, чем эти господа заняты на самом деле. И видя этих молодцеватых юнкеров, этих скучающих господ, Лидия понимала, что они здесь не случайно, что у них свои цели. Она представила себе, как быстро сбегутся эти люди, как сгрудятся возле «подозрительного», давно ожидаемого ими человека и как через минуту разбегутся, превратившись в просто ожидающих свой поезд обывателей, а он единственный будет лежать на дощатом перроне. И страх все отчетливее заползал в сердце. Она знала, что должна справиться с этим страхом и справится с ним. Но все равно, подъезжая к Белоострову — пограничной станции — и зная, что все документы у нее в порядке, она почему-то разволновалась. Не только таможенные интересы охраняются здесь, в Белоострове. В Финляндии, бывшем великом княжестве Романовых, давно уже существует какая-никакая, но конституция, есть легально действующие партии, некоторые свободы, позволяющие рабочему классу отстаивать свои права в легальных условиях. И в этом дарованном либерализме затеряться революционеру, конечно, легче. В Белоострове подробно, но не привлекая к себе внимания, к тому, что процедура проверки документов ее интересует — ее, конторскую барышню, скромно, но не без изящества одетую, с золотой цепочкой на шее, едущую повидаться с родителями,—

Лидия внимательно наблюдает эту проверку. Юнкера один за другим прочесывают вагоны. Лидия ловит внешне небрежный, но цепкий взгляд чиновника, проверяющего документы. Зрачок обшаривает все поле бумаги: фотография, печать, нет ли подчисток; пальцы незаметно прощупывают плотность бланка. Лидия волнуется: товарищи поедут здесь по подложным документам. Как же гулко будут стучать у них сердца! Ведь никаких сил не хватит стерпеть такое. «Что же будет?» — с ужасом и начинающейся паникой задумывается Лидия. И тут же возникает давящая сердце картина: скучающие «дачники» по какому-то тайному знаку сбегаются вдруг к одному из чиновников, проверяющих документы. Сбежались, сгрудились, раздался выстрел...

Вежливый, вышколенный голос приводит ее в чувство.

— Пожалуйста, барышня. Можете ехать. Счастливого пути.

Паровоз дает третий гудок...

Она поговорила с отцом на следующее же утро по приезде.

Выждала, когда они останутся одни, с глазу на глаз. Братья ушли ловить рыбу, мать возилась на огороде, а отец шорничал, разложив инструменты и дратву на табуретке, вынесенной из кухни.

— Папа, я хотела с вами поговорить.

Отец не поднял головы, старательно проталкивая кривую сапожную иглу сквозь старую, вытершуюся кожу, но Лидия увидела, как затылок его напрягся, потому что он не привык, чтобы старшая дочь так начинала с ним беседу. Он привык первым спрашивать своих детей.

— Я слушаю тебя, Лююи.

— Папа, скажите, не мог бы у нас несколько дней пожить один петроградский писатель?

С такой просьбой дочь не обращалась к нему ни разу.

Старый Пекка — так его звали друзья, — не выпуская иглы и не поднимая головы, думает: «Но ведь она уже взрослая, его дочь, она одна, сама пробивается в жизни — в большом и, как он знает на собственном опыте, безжалостном городе. У нее свои друзья, и она совсем не легкомысленна, его дочь, чтобы обратиться к нему с пустячной просьбой».

Он думает и проталкивает иглу через ветхую, расползающуюся под острой сталью кожу (надо бы купить хомут, но столько «надо» в его многодетном хозяйстве!). Пекка вспоминает литейку. Литейку в Москве, литейку в Петрограде, на заводе брата. Газ, дым, смрад. На это ушли жизнь и здоровье. На дорожке за малинником раздаются голоса младших сыновей, возвращающихся с озера. Шесть лет, восемь лет, десять лет. А сыновьям уже приходится помогать отцу по хозяйству. Обрубать сучья, собирать хворост, носить воду скотине. Что их ждет? Литейка на заводе двоюродного брата и такие же, как у него, Пекки, обожженные горячим газом легкие? У Лидии свои друзья и, кажется, своя жизнь. Он уже навел справки о Рахье. Обходительный человек. Товарищ, друг. Но только, по его, Пекки, сведениям, где бы ни начинал Рахья работать, рано или поздно в этом месте всегда дело кончалось забастовкой, стачкой, вызовами армейских команд. У него, Пекки, другой характер. Он, Пекка, видимо, медведь, забившийся в свою берлогу. Пекка продевает иглу сквозь кожу и спрашивает:

— А твой знакомый, Лююи, — в голосе отца Лидия слышит легкую тревогу, — хороший писатель?

— Хороший, папа.

— А он рабочий писатель?

— Он, папа, пролетарский писатель.

— А скажи-ка мне, Лююи, — отец поворачивает голову и смотрит на Лидию совсем не суровым, а легким грустным взглядом, как смотрел на нее в детстве, — этот писатель твой знакомый или Рахьи?

Лидия внезапно для себя — она сдерживается из всех сил — краснеет. На мгновение опускает глаза и тут же твердо говорит:

— Это знакомый Рахья. Но я его видела, он приятный человек, и я знакома с его женой.

Отец улыбается. Старый и мудрый Пекка улыбается тому, как правильно он все понял и построил разговор. Эти молодые думают, что у них своя жизнь, которая непонятна им, старикам, даже тем, которые изучили их повадки с пеленок. Но если у детей свои тайны, то пусть думают, что никто эти тайны не знает.

Отец улыбнулся.

— Ну, если писатель такой хороший твой знакомый, то пусть поживет несколько дней у нас. У нас, как ты видишь, тихо, соседи далеко, любопытных нет, а матери я скажу, чтобы она освободила «молочную» комнату.

Лидии захотелось расцеловать отца, но в их семье это не было принято. Лидия сдержалась, не бросилась к отцу, сказала:

— Спасибо, папа, но у меня есть еще одна просьба. Можно, я уеду не вечером, как всегда, а сразу же после обеда? Иван отвезет меня на станцию.

— Но ты не наберешь ягод.

— Я наберу ягод в следующий раз.

С вокзала она почти бежала в свой Певческий переулок. И не успела с дороги умыться, как пришел Рахья. Был он одет по-воскресному: в светлом пиджаке, на жилете цепочка от часов, на голове легкая соломенная шляпа с невысокой тульей — просто франт да и только, а вот ботиночки в пыли: видимо, тоже ездил куда-нибудь за город. Лидия чуть ли не заплакала от обиды. Где он гулял? Но тут вспомнила, какое сейчас время, и все ему, если и виноват, простила.

Рахья внимательно выслушал ее рассказ, и опять, после тех волнений, которые она испытала, после того страха, который перетерпела за него, за Эйно, она чуть

ли не обиделась, потому что, выслушав все — как она ехала по железной дороге, как торопилась обратно в Петроград, какие мысли ей приходили в голову, как разговаривала с отцом,— Эйно только усмехнулся и сказал:

— Ну что, разве мы с Шотманом не знаем Петра Генриховича? Я другого и не ожидал от него.— Но, увидев, как глаза у Лидии почти заволокли слезы (как все у него просто!), Эйно добавил: — Ты молодец, Лидия. Однако это еще полдела. Нам нужно где-то укрыть товарища Ленина на сутки под Петроградом, поблизости от Финляндской железной дороги. Вот мы о чем с Шотманом подумали: у тебя в Лесном возле станции Удельная живет двоюродный брат Эмиль Кальске.

— Он рабочий, из сочувствующих.

— Мы его с Шотманом тоже давно знаем. Язык он за зубами держать умеет.

— Он работает на заводе «Айваз».

— Там крепкие ребята. Любят, правда, красиво поговорить, но свои. Поезжай к нему.

— А ему можно сказать, кого он должен принять?

— Можно, можно.

— Только у Эмиля двухлетняя дочка и больная жена.

— Вот ты и поезжай проведать его жену. Хорошо?

Как всегда, Володя, ее брат, подходя к двери, начинал греметь ключом, шумно вытирать ноги о половичок. Так и тут. Не успела она ничего ответить, как поняла: вернулся брат. И все же, пока Володя возился с дверью, она успела шепнуть Эйно:

— Хорошо. Я поеду. Значит, мы завтра не увидимся?

И рисковый Эйно мгновенно притянул ее к себе и на ухо, щекоча усами, сказал: «Жизнь у нас с тобою будет большая, длинная, длинная, еще, наверное, успеем друг другу надоесть».

«Никогда!» — подумала Лидия, и сердце у нее вдруг сладко оборвалось.

Неужели она, Лидия, не заслужила своего Эйно?

Не будь он в ней уверен, рекомендацию в партию ей бы не дал. В ее учетной карточке так и записано: «Рекомендует Э. Рахья». Однако она чувствует, что он дал ей рекомендацию и потому, что она ему нравится, да, нравится. И ей еще надо дорасти до своего Эйно. Надо, как и он, думать в первую очередь о делах партии. Но что она может поделать с собой, если не в силах разделить партию и Эйно? Она уже запуталась: ради партии или Эйно выполняет трудные поручения? Но знает, в деле она не струсит, не проговорится, а если необходимо, готова и на последнее, после чего уже никогда не увидит ни отца, ни мать, ни братьев, ни Эйно.

На следующий день она сразу же после работы поехала в Удельную. Брат пришел только поздно вечером. Она помогла по хозяйству его жене. «Я ведь приехала,— говорила она,— чтобы проведать вас». С братом, когда он пришел, сумела договориться быстро.

— Эмиль,— сказала она,— есть решение переправить Ленина в безопасное место. А ты знаешь, что Финляндия может стать Финляндией, только если большевики возьмут власть. Партия большевиков нуждается в твоей помощи.

— А ты разве член партии, Лида?

— Да,— сказала она твердо. И впервые возник у нее холодок уверенности в себе.— И говорю с тобой по поручению товарищей. Нам нужно, чтобы сутки Владимир Ильич прожил у тебя. Об этом никто не должен знать. Я осмотрела все вокруг, у тебя отдельный вход, в квартире нет соседей. Ты будешь ждать их вечером в тот день, когда тебе скажут. Ждать возле окна и, как только они войдут во двор, открыть дверь подъезда и дверь в квартиру. Сможешь ли ты это сделать?

— Я смогу, Лююи, и жена сделает все, как я скажу,— ты же знаешь, в финской семье жена особенно не рассуждает,— но я сейчас работаю в ночную смену, а если отпущусь, это может вызвать подозрения.

— Отпрашиваться не надо. Ты поговоришь с женой, а встречать нашего гостя и товарищей буду я сама. Я вне подозрений, я родственница.

...Она приезжала с работы, быстро убирала квартиру, кормила больную и ребенка и становилась к окну. Из окна был виден кусок двора, тусклый фонарь при входе, кусочек улицы, затененной деревьями. Лидия стояла в глубине комнаты и до боли в глазах вглядывалась в темноту. Вслушивалась, не раздадутся ли осторожные шаги, не скрипнет ли калитка. Но никто не пришел ни в первую назначенную ночь, ни во вторую. Утром она едва успевала попить чаю и бежала к поезду, чтобы не опоздать на работу. Хорошо, что каждый раз ей удавалось сесть в вагоне на скамейку. Читать не было сил. Она устраивалась ближе к окну, в уголок и, пока дремала, все же краешком сознания контролировала себя: держаться надо было прямо, достойно, не приваливаться к соседям. Лидия приезжала в свой комитет и сама удивлялась, как она умудряется не делать ошибок. А вечером спешила на вокзал.

Наконец на третью ночь она увидела у калитки тень. Человек приоткрыл калитку, а Лидия все колебалась. Когда мелькнула чуть сутуловатая фигура Рахьи, подумала: «Слава богу, целы, невредимы»,— и осторожно, босиком сбежала по ранее сосчитанным, чтобы не споткнуться в темноте, восемнадцати ступенькам и открыла дверь...

Эйно

После разговора с Лидией Эйно Рахья несколько минут все же подождал: не скрипнет ли в доме половица, не мелькнет ли за стеклом белая тень, не вздохнет ли открывающаяся дверь. Но все было тихо, никто к нему не вышел, и Рахья с отчаянной досадой надвинул шляпу-

канотье на лоб. Он невольно улыбнулся, представив себя со стороны: эдакий петроградский фронт с усами, в модной шляпе и жилетке с часами. Но конспирация есть конспирация. Лихой фронт едет в полном параде в деревню показываться будущей родне. Кто подумает, что фронт начинен револьверами? Эйно надвинул канотье на лоб, словно картуз, и через репейники, кусты малины, росшие за домом, по коровьим плюхам, по огородам — береженого и бог бережет — отправился на последний обход усадьбы. Он шагал осторожно, бесшумно, и только вездесущий пес Натти, демаскируя гостя, бежал впереди и еле слышно бил хвостом по сухим ветвям кустарника: чего бродит этот веселый человек?

Все было спокойно. Окна плотно закрыты от поздних комаров, всюду темно, и только в бывшей «молочной», куда поселили товарища Ленина (Рахья и про себя называл Владимира Ильича не иначе как с добавлением слова «товарищ»: ему нравилось это слово, его звучание и его смысл), — и только в окне товарища Ленина горел свет.

Кругом тихо, чуть поскрипывали деревья от начинающегося ветра, дождик прошел, набежавшие тучи расходились: значит, завтра будет хорошая погода. Эйно постоял возле слабо мерцающего окна, и почему-то окно это, одинокое среди темноты, напомнило ему маяк в Кронштадте, когда подплываешь к городу с моря и вдруг далеко-далеко показывается огонь. Родной город, место рождения Рахьи. Правда, при воспоминаниях о Кронштадте Рахье всегда хотелось сжать кулаки, но день сегодня у него был удачный, добрый, и Эйно решил сейчас о Кронштадте не вспоминать, дабы не омрачать себе настроение. Он еще посмотрел на слабый огонек в окне, представил товарища Ленина, низко склонившегося над столом, и внезапно застеснялся, будто бы взгляд мог проникнуть через легкую шторку и помешать товарищу Ленину в работе. А ведь Емельянов, Шотман и он, Рахья, риско-

вали жизнями, старались безопасными путями вывести товарища Ленина сначала из Разлива, потом из пригородов Петрограда — все почему? Потому, что товарищ Ленин был вождем их партии, не только старшим товарищем, но и — это главное, из-за чего вся партия охраняла Ленина, — потому, что он один за своим столом или на митинге мог делать за них ту работу, которую никто больше сделать не мог.

И застеснявшись, что так неотрывно смотрит он на окно товарища Ленина, смутившись своих мыслей, непривычных и показавшихся нескромно-возвышенными и книжными, Эйно Рахья потихоньку, все так же сопровождаемый праздным в эту ночь Натти, обогнул дом теперь уже с другой стороны и мимо крошечной веранды, по тропинке, мимо темнеющего в ночи гумна, где молотили хлеб, пошел к расположенному почти на другом конце усадьбы сараю; здесь был устроен сеновал.

Эйно Рахья был доволен собой. Начавшуюся еще в детстве битву с мировой буржуазией он ведет очень успешно. Мы-то вытерпим, думал Эйно, но каково вам, непривычные к битью господ? Чувствительно? Так всегда, поначалу не болит, прихватит потом. Эйно ведет на буржуазию тотальное наступление. В этом смысле он не сын своего отца. У Эйно нрав повеселее. Просто он достаточно нагляделся на папаню.

Я не папаня, размышляет Эйно. Это он сменил одно ярмо, которое не кормило, на другое, которое кормило впроголодь. Из финского крестьянина стал кронштадтским плотником. За тридцать лет работы прибавку выслужил. Когда приехал — девяносто копеек в день получал, стал загребать рубль двадцать. Прогресс. На всех: на жену, на себя, на двенадцать человек детей. Хорошо, что нашелся благодетель, генерал-майор в отставке Гончаров, владелец дома, угол дал. Когда генерал благодетельствует, в корень надо смотреть: за гнилой угол финн-дворник — вымести, полить, за порядком смотреть, зимой снег

откинуть, за воротами приглядывать. Еще тридцать копеек получал. Да при таких деньгах капиталистом можно стать! А уж социалистом — непременно. Здесь только важно в свой, в рабочий социализм попасть. Вот теперь, в августе, некоторые рабочие восторгаются, как социалисты-революционеры Виктор Чернов и Борис Савинков распинаятся. Витии.

Товарищ Ленин, после ухода с квартиры Эмиля Кальске, спрашивает Рахью: это надежный товарищ? «Как стена надежный, хотя и социалист-революционер, эсер». Как же они с Шотманом решились сюда прийти? Да он, отвечает Эйно, такой же эсер по своей сути, как Эйно — китайский император. Таких эсеров сейчас среди рабочих пруд пруди. Ведь Эйно все же на заводе мастером долгие годы работал, некоторые даже поговаривали, что Рахья охране помогает. Это хорошо, улыбнулся при том разговоре товарищ Ленин, что так поговаривают, это для дела полезно. «И вот ответственно могу заявить: рабочие битой своей спиной быстро доходят до того, что за словами стоит...» И опять товарищу Ленину это очень понравилось. Но ведь Эйно не из головы все это берет, не фантазирует. Он, Эйно, тоже через битую спину стал думать о мировоззрении. Когда с тринадцати лет работаешь, то мировоззрение быстро вызревает. А когда тебе в одном месте недоплачивают, в другом бьют, в третьем беззастенчиво грабят, начинаешь понимать, что смысл есть держаться только за социал-демократов. У Эйно весь партстаж вымощен нелегалкой, тюрьмами да стачками. Нас любимый город Кронштадт наглядно распропагандировал. На центральной улице: бархатная сторона — для господ офицеров, вообще для господ, ситцевая сторона — для быдла, для матросов, для мастеровых. Чем не социальное равенство! В конце концов, все же одна улица, общее солнце, общая проезжая часть. А разве не все мы рождаемся сопливыми? Какой-то знаменитый адмирал придумал: родина должна запомниться матросу, если он

весной уходит в плавание, цветущей. И засадили городок каштанами, жасмином, сиренью — все в начале лета цветет, благоухает. Только родина запоминалась Рахье двумя сторонами одной улицы. А собор? Пять тысяч человек сразу входит. На полу — мозаикой — водоросли, медузы, наверху в бездонном куполе кресты золотые, как небесные звезды. А Кронштадтский сад? Прекрасной и благоуханной должна запомниться матросу родина. Только Рахье запомнилась она другой. В двадцать лет, когда за социальную активность уволили его с Пароходного завода, то ни одно предприятие города не взяло хорошего слесаря: «У нас и своих социально-активных в избытке». А вот в Петрограде — прощай жасминный край! — на Финляндской железной дороге начальство было либеральное — предоставили «квалифицированную» работу чистильщика паровозов.

Вообще Рахье всю жизнь не везло: чуть на новом месте поработает, чуть с людьми сойдется — обязательно начинается стачка. Да разве один Рахья бастует, разве он один выходит на стачку? Но после забастовки почему-то Рахью с работы выгнали. За что? Раб и обязан восставать. А ведь это утомительно каждый раз менять плацдарм для войны с мировой буржуазией. А уж если вытурили с просторов Финляндской железной дороги, то Эйно ничего не оставалось, как перенести свои маневры воистину на мировую арену. И откуда только мировой капитализм узнавал о мировоззрении рыжевато-го финна из Кронштадта? Эйно вроде капитанам о мировоззрении не докладывал, а если команда бастовала, при чем тут бедный финн? Они бы лучше следили за матросским бытом, за жратвою, за тем, чтобы жалованье платить настоящее. Сплошное безобразие у буржуазии: пока на английском судне шли в Конго, трое матросов умерло. И господа хотят, чтобы это им сошло от уроженца ситцевой стороны? Пришлось бедному финну не по своей воле сходить в Кардиффе. Устроился матросом на швед-

ское судно. Пока плыли, четыре раза бастовали. А ведь в сутолоке можно и господина офицера ненароком зашибить. А зачем сразу в тюрьму? Хорошо, что Эйно такой спокойный — в тюрьму так в тюрьму. Российские тюрьмы видел, посмотрю теперь и бельгийскую. И в Российской империи нет порядка, и в Бельгийском хваленном королевстве. Надо порядок наводить. Но все равно мы свой, мы новый мир построим. Еще будет на нашей ситцевой стороне праздник. Мы еще спляшем кадрили с выходами на нашей скорой с Лююи свадьбе. Вот сперва добудем для всех на земном шаре равенство, свободу и счастье... Правда, Натти, правда, Красавчик?..

Веселый пес Натти, несколько удивленный вниманием, которое нежданно-негаданно свалилось на него сегодня, не очень вслушивается в то, что бормочет его спутник. В принципе Эйно псу Натти нравился, и поэтому Натти очень определенно по-дружески помахал хвостом, что на собачьем языке сейчас обозначало: «Верно. Я с вами совершенно согласен. Вы совершенно правы».

Эйно Рахья, прошлую ночь неплохо проспавший на полу, на газетах, среди которых, естественно, находились и буржуазные и даже бульварные, был приятно удивлен, что чья-то заботливая рука поверх свежего, пахнущего летним травостоем сена бросила большую овчинную шубу. Эйно аккуратно разложил шубу, расправил огромный, почти в аршин, воротник, лег на одну полу и прикрылся другой, но сразу уснуть не удалось. Бельгийский браунинг в левом кармане пиджака впился в левый бок, а бельгийский браунинг в правом, когда Эйно повернулся направо, впился соответственно в правый бок.

В брючных карманах лежало еще несколько обойм патронов и прочая металлическая мелочь. «Не человек, а целый арсенал», — подумал Эйно и вспомнил: когда он обнаружил, что Вани с лошастью нет, они с Шотманом на какое-то время растерялись. Почему его нет? Твердо ли договорилась Лидия? Но ясно одно: на площади перед

вокзалом оставаться нельзя ни одной минуты. И они втроем сразу же пошли в тень, под мост, к начинающемуся за ним шоссе. И тут же они с Шотманом решили, что это какая-то досадная случайность, не более. «Хвостов» за Лидией быть не должно, операцию они провели чисто. Шотман вернулся на вокзал — попытаться отыскать Лидию и ехать дальше в Гельсингфорс, чтобы найти для товарища Ленина нелегальную квартиру подальше от юнкеров Керенского и с более доступными способами общения с ЦК в Петрограде. А Рахья вместе с товарищем Лениным пошли по дороге вперед.

Эйно хотя и знал дорогу, но никогда не ходил по ней ночью. И как случилось даже у более крепких, чем Эйно, людей, воображение стало раскручивать разнообразные замысловатые картины. А вдруг сейчас из темноты, из кустов... Но нет, он, Эйно, не такой дурак. Запросто товарища Ленина он не отдаст. И свою жизнь он тоже не собирается уступать за понюшку табаку. Ему еще надо жениться на Лююи, маленькой женственной Лююи, верном товарище, доброй и бескорыстной... И тогда, чтобы как-то успокоить себя, Эйно достал из кармана браунинг и твердо сжал его в кулаке. «Э нет, товарищ Рахья,— слышит он рядом негромкий и, как ему кажется, насмешливый голос товарища Ленина.— ЦК поручил вам провести меня безопасным путем, вот и ведите. А оружие на безопасном пути ни к чему».

Рахья думает: «Какой характер, какая выдержка». А он, Рахья, еще считает себя опытным подпольщиком. Ему еще учиться и учиться. Учиться, как говорят, никогда не поздно. А у него четыре класса в сумме. Два — русской школы, два — церковной финской. Хорошо, что хоть русским языком владеет с детства, как родным. Как много знает он, Рахья, молодых талантливых ребят из рабочих, которым если бы образование, если бы не этот каторжный изнурительный труд... Ну, ничего, думает Рахья, наш век уже близок. Не всегда нам ходить под

ярмом и жить в казармах по десять человек в комнате. И сегодня еще один удар по буржуазии нанесли они — Рахья, Емельянов, Шотман, — спасая товарища Ленина от преследований шайки Керенского. Лично он, Рахья, уверен — оглушительный. Свою часть операции вместе с Шотманом и Лююи они выполнили четко. И, как всегда, когда дело бывало выполнено хорошо, Рахья с удовольствием вспомнил один за другим все эпизоды его подготовки и проведения.

А на кого Шотману можно было опереться, когда он получил задание ЦК перебросить товарища Ленина в Финляндию? Только на людей, которых хорошо знал. Не просто знал по собраниям или по гулянкам. Они достаточно протрубили вместе на фирме «Сокол» в Гельсингфорсе: Рахья — слесарем, Шотман — мастером. Рахья выдержит, Рахья не подведет, Рахья не проболтается. Да и опыт Рахьи на Финляндской железной дороге тоже кое-что стоил. Его там каждый знает, и он каждого; и, кроме начальства, все относятся там к Эйно хорошо. А когда начальство что-нибудь значило в таких операциях?

И все-таки сначала они попробовали другой, как им казалось, менее опасный путь. Два раза переходили границу под Сестрорецком. Их оба раза встретили — корректно, но тщательно проверили документы. И они поняли: ждут! А слухи, что товарища Ленина скрывают под Сестрорецком, становились все настойчивее. И тогда оба — и Шотман и Рахья — решились на давний, испытанный ранее вариант. Ведь, в конце концов, не даром каждая собака знала Рахью на Финляндской железной дороге и не даром он, Рахья, работал на дороге в бурный пятый год. А в шестом перевозил вместе с машинистом Ялавой участников революции. Простенький они разработали способ. В Белоострове, когда запирали вагоны с пассажирами и у машиниста с кочегаром проверяли документы, паровоз шел на дозаправку водой. Возле

водокачки в поезд садился новый «кочегар». Перед самым третьим звонком появлялся паровоз, старый кочегар прицеплял к нему состав и нырял, чтобы не отсвечивать, в первый вагон. «Прощай, немытая Россия...» В Финляндии конституция, под сенью которой пролетариат может легально насыпать сольцы под хвост буржуазии.

Единственное, в чем сегодня сложность, — ошибиться, промахнуться нельзя. Но ведь раз чуть не промахнулись. Когда уходили из Разлива, вместо Левашева попали на приграничные Дибуну. Товарищ Ленин их ругал: «Конспираторы. Не могли позаботиться достать карту-трехверстку». Погода все лето стояла жаркая, горел торф, было смрадно, дымная мгла, и только выбрались из торфяника — надо переходить вброд реку. Он, Рахья, приглядывался к товарищу Ленину. Уже слышал его несколько раз на митингах, читал его статьи, а тут он наблюдал другого товарища Ленина. И этот Ленин нравился ему чрезвычайно. Когда подошли к речке, они с Шотманом видят: делать нечего, надо раздеваться и переходить вброд. А тут Емельянов говорит по своей душевной простоте: «Владимир Ильич, давайте мы вас через реку перенесем». Рахья аж весь заледенел, когда услышал. Ну, подумал, сейчас будет... Товарищ Ленин так на Емельянова глазами сверкнул, что тот, наверное, на всю жизнь запомнил. Нагнулся Ленин, стал ботинки развязывать...

И в Дибуну вчера тоже потребовалась выдержка. Емельянова на платформе взяли контрразведчики. Скандал идет. И выхода нет: поезд на Петроград в этот день последний. Но Емельянов молодец, отвлекает от них. А они сидят в канаве, в кустах. Ситуация такая, что нельзя бежать, скрываться. Некуда. Надо сидеть и ждать. И товарищ Ленин — будто настоящий, как Рахья, финн — держал беспокойство, волнение в себе.

А уже в поезде — надо ехать в разных вагонах — отстал Шотман. Шотман в очках, видит плохо, перепутал

и на одну остановку раньше вышел. Шли по Удельной, всюду темно, прохожих нет. Что с их товарищем, не знали. И тоже товарищ Ленин не показывал, что волнуется, хотя волновался за обоих: и за Шотмана и за Емельянова, и когда в шесть утра появился Шотман, Ленин сразу же ему говорит: надо узнать, что с Емельяновым, и предупредить его жену Надежду Кондратьевну.

Ох, если бы ему, Рахье, немножко грамотишки! Чтобы хоть отдаленно походить на этого человека. Все у товарища Ленина и легко и точно получается, будто обо всем знает наперед. И что сказать и как найти верный тон. Не успели они вчера войти в квартиру Кальске, Лидия заторопилась с их ночлегом. Стала перетаскивать свою постель на пол. И товарищ Ленин сразу:

— Женщины и дети продолжают спать, а мы с товарищем Рахьей на газетах, на полу. Газеты — удивительно теплая штука. Товарищ Рахья просто не согласится спать по-другому. Верно, товарищ Рахья?

А ведь он, Рахья, растерялся. У Кальске сказал это первым товарищ Ленин.

Перебрав в уме весь свой путь от Разлива до этого сеновала, Рахья начал засыпать. Пахло деревней, покоем, здоровьем. Перед тем как окончательно оторвать от себя день минувший, он подумал, что вот тридцать с лишним ему лет, работа, разъезды, тюрьмы, а свое маленькое домашнее счастье почти упустил. «Лююи,— засыпая, шепчет он.— Ты молодец, Лююи»,— шепчет Эйно, и ему снится, что вместе с Лююи в Кронштадте подходит он к дверям большого собора, вмещающего пять тысяч человек. Он, конечно, в жилете, с цепочкой. Лююи вся в белом. Дверь открывается, и вместо священника выходит полицмейстер: «Иностранцам вход запрещен. Проваливай...»

Константин Петрович

Ленин проснулся, как привык просыпаться и в Разливе,— раньше всех, с восходом солнца. Из-за занавески выглядывало утро. Деревья стояли в росе, трава казалась тяжелой, темно-зеленой. Ленин проснулся, и первая же мысль была о книге. Он обрадовался, потому что по опыту знал: такая глубинная погруженность в материал говорит, как легко и быстро пойдет работа, впрочем, в писательском деле случалось по-разному. Но пока Ленин немножко, даже несколько искусственно отдалил, отвел от себя уже готовые фразы и абзацы. Он осторожно открыл дверь, вышел и со двора потянул на себя дверь кухни, где они вчера ужинали.

Дверь не была заперта. Двигаясь на цыпочках, потому что утренний сон особенно чуток, а за бревенчатой перегородкой спала хозяйская семья, Ленин набрал в кружку воды из ведра, прикрытого дощечкой, и пошел к себе бриться.

Из осколка зеркала глянуло на него чужое безбородое уставшее лицо. Кожа, хотя он и хорошо отдохнул, была сероватой, и лишь глаза ему понравились: живые, как можно было бы пошутить, «с искрой пролетарского оптимизма». Глаза определенно повеселели с того времени, когда он так же холодной водой брился на квартире Сергея Аллилуева. Тогда, 9 июля, на него смотрело привычное лицо с бородой и усами по моде его юности. Впереди была неизвестность, длинный маршрут по городу, в котором его слишком многие знали, встреча на условленном месте с сестрорецким рабочим Емельяновым и перрон, на котором наверняка толкались несколько ретивых сыщиков. Аллилуев принес воды, и Ленин, глядя в небольшое овальное зеркальце в простенькой буковой рамке, намылил усы, бороду и, обжигаясь от боли, яростно начал бриться.

Определенно с того времени глаза у него повеселели. Прошедший месяц многое прояснил в политической ситуации. В конечном счете народ можно ввести в заблуждение, но нельзя обмануть. Правда, хотя и не так быстро, как иногда хотелось бы, выйдет на поверхность. В начале июля он вынужден был скрываться не только от Временного правительства, но и от тех, кого обманули ядовитой клеветой. «Демократы» этого правительства в первую очередь испугались народа. Церетели — меньшевик, «тоже марксист» — проговорился о решимости буржуазии разоружить питерских рабочих. Видите ли, «государственная» необходимость! Очень быстро эти «марксисты» забыли, что в марксизме называется буржуазным государством.

...Еще не окончив бриться, Ленин услышал за стеной легкий шорох осторожных шагов, забулькала вода, наливаемая в самовар, потом звякнула дужка ведра, и перед окном мелькнула тень — хозяйка пошла доить корову.

Ну что ж, и его трудовой день тоже начался. Скорее надо заканчивать с бритьем.

Сорок лет Маркс и Энгельс учили пролетариат, что он должен разбить государственную машину. А теперь «тоже марксисты» думают разоружить народ! Да, демократическая республика — наилучшая для пролетариата форма государства при капитализме. Но разве мы вправе забывать, что наемное рабство есть удел народа и в самой демократической буржуазной республике! Республика — ближайший подход к диктатуре пролетариата. Здесь происходит неизбежное обострение и развертывание классовой борьбы.

Ленин еще раз быстро проглядел свои записи в синей тетради. Для работы у него есть почти все, еще достать энгельсовского «Анти-Дюринга» и «Нищету философии» Маркса. Непредубежденному марксисту здесь все ясно, надо только уметь читать. Выводы, сделанные Марксом из наблюдений над последней великой революцией, которую он пережил, забыли как раз тогда, когда подошла

пора следующих великих революций пролетариата — ведь русские революции 1905 и 1917 годов в иной обстановке, при иных условиях продолжают дело Коммуны и подтверждают гениальный исторический анализ Маркса.

Разве может буржуазную республику поколебать всеобщее избирательное право? Еще Энгельс называл его орудием господства буржуазии. А мелкобуржуазные демократы, вроде наших эсеров и меньшевиков, ждут именно «большого» от всеобщего избирательного права. Внушают народу мысль, будто всеобщее избирательное право в «теперешнем государстве» способно действительно выявить волю большинства трудящихся. Ложная мысль. Это затушевывание, если не отрицание, революции. А новая, социалистическая революция близка.

В дверь постучали. Ленин подавил естественное неудовольствие человека, которого отрывают от любимой работы, и сказал: «Войдите».

На пороге стояла Анна Михайловна, хозяйка.

— Здравствуйте, Константин Петрович, доброе утро.

Ленин по выработанной с детства привычке поднялся со стула:

— Доброе утро, Анна Михайловна.

— Как спали?

— Прекрасно спал.

— Я подумала, Константин Петрович, не выпьете ли вы кофе до завтрака?

— А когда вы обычно пьете кофе?

— Да кофе у нас не совсем кофе: цикорий, желуди, немножко кофе, но вкусный. Пьем во время завтрака. Вот картошка сварится, и через часок будем завтракать.

— Если можно, Анна Михайловна, я вместе со всеми.

Он снова склонился над тетрадью. Ленин чувствовал, что в этой книге будет много и о том новом государстве, которое придет на смену рушащейся буржуазной республике. Он недаром в разговоре с товарищем Серго назвал дату: сентябрь — октябрь. И как ни странно, главные

мысли будущего часто находятся в прошлом. У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинил, сфантазировал «новое» общество. Он берет фактический опыт массового пролетарского движения и старается извлечь из него урок. Он «учится» у Парижской коммуны. Рабочие завоюют политическую власть, разобьют старую государственную машину насилия над трудящимися, сломают ее до основания, создадут новое, рабоче-крестьянское государство, при котором трудящиеся сами будут управлять страной.

Ленин еще довольно долго сидит, перебирает свои записи, примеривается, пишет отдельные куски, но уже чувствует: в работе начавшийся день хорошо продвинулся вперед. Да и жизнь за стенкой, на кухне, судя по звукам, тоже наращивает темп.

Наконец, приоткрыв дверь, Анна Михайловна говорит: — Константин Петрович, идите завтракать.

Ленину хочется посидеть за работой еще, но приходится подчиняться ритму чужого дома. Тем более что он понимает: за утро работа сделана немалая.

Во дворе, перед входом в кухню, собралась вся семья. По случаю воскресенья завтракают позже обычного. Солнце уже высоко, но пока не припекает. Ленин здоровается с Петром Генриховичем. Анна Михайловна вместе с Лидией завершают подготовку трапезы. Дверь на кухню широко открыта. Лидия кричит ему от плиты:

— Доброе утро, Константин Петрович!

Рядом с Петром Генриховичем Рахья, Иван и — один другого меньше — младшие сыновья хозяев.

— Здравствуйте, молодые люди, — говорит Ленин и по очереди подает всем руку. И ребятишкам это до смерти нравится. Только младший Вернер немножко дичится, прячется за спину отца. Петр Генрихович тихонько извлекает его, стеснительно упирающегося, из-за спины. Ленин присаживается перед Вернером на корточки, протягивает руку:

— Здравствуйте, молодой товарищ.

Глазенки у Вернера бегают. Отец что-то ему говорит по-фински, и тогда мальчик лепечет:

— Терве.

По-фински — «здравствуйте».

Все улыбаются. И Вернер улыбается. Ему понравился гость! Он смотрит в его смеющиеся темно-карие глаза, а гость видит глаза Вернера, нежно-голубые, как последние васильки в поле.

На завтрак все едят молодую картошку и запивают молоком. Анна Михайловна вместе с Лидией успела еще напечь ржаных финских пирогов. Что-то вроде лепешки с положенной на нее картошкой или рисом. Пирог не до конца закрыт, видна зажаренная корочка начинки. Ленин хвалит пироги:

— Если бы каждый день было воскресенье.

Кофе пьют вчетвером: Петр Генрихович, Рахья, который, отоспавшись, лучится, как новенький рубль, Лидия и Ленин; мальчишки удрали во двор, а Анна Михайловна, разлив вкусный деревенский напиток со следами настоящего кофе, ушла по хозяйству.

Внезапно Петр Генрихович говорит, обращаясь к гостю:

— А я знаю, кто вы. Ленин.

На мгновение Ленин вздрагивает и невольно бросает недовольный взгляд в сторону Лидии. У той слезы наворачиваются на глаза.

— Ну, конспираторы! — Ленин все обращает в шутку. Петр Генрихович перехватывает взгляд, который бросил на дочь Ленин.

— Молодежь ни при чем. Я узнал по газетам. А потом, кто может ходить в друзьях у Рахьи?

Рахья смущается от этой поддевки. Лидия старается незаметно вытереть глаза.

Утро прекрасное, и приезжие отправляются гулять. Знакомиться с окрестностями. Младшие Федя и Вернер

не отстают. Вернер жмется к гостю, что-то шепчет, подталкивает его то к кусту малины, то к ежевичнику.

Во время этой прогулки Ленин все время чувствует некоторое смущение Лидии и Рахьи. Особенно беспокойна Лидия.

— Лидия Петровна, а что вас волнует? Ну, признавайтесь нам...

— Константин Петрович, — Лидия твердо усвоила, как здесь надо называть Ленина, — мы ведь отцу действительно ничего не говорили, он сам догадался.

Мальчишки лазают по кустарникам, и можно говорить свободно.

— Это свидетельствует о том, что мы плохие конспираторы. А в революционной работе конспирация вещь очень важная. Хотя она не означает угрюмость. И конспирироваться можно весело. Но терять здоровой осторожности нельзя никогда. — И Ленин рассказывает, как соблазнился — впервые возвращаясь из-за границы и будучи из «неблагополучной семьи», находящейся после гибели старшего брата у властей под подозрением, — соблазнился провезти чемодан с двойным дном, с нелегальной литературой.

Как практиковалось, власти арестовали его не сразу, стараясь выследить лиц, принимавших литературу, распространявших ее, и создать, таким образом, большое дело. В тюрьме, осмыслив все это, он тем не менее не потерял присутствия духа, находчивости. В письме из камеры попросил передать ему книги для работы. И в этот список так аккуратно ввел свои вопросы о судьбах товарищей, что тюремные чиновники ни о чем не догадались. В списке он поставил книгу историка Костомарова «Герои смутного времени», а для читавших товарищей это были Минин и Пожарский — партийные клички Ванеева и Сильвина. Но товарищи с воли тоже ответили остроумно: в библиотеке имеется лишь 1 т. сочинения, то есть арестовали лишь Ванеева, а не Сильвина. Или: по-английски

он вписал несуществующий роман Mayne Reid «The Мупога». А это был вопрос о Надежде Константиновне, которую в свое время окрестили Рыбой или Миной.

—...А мы не смогли провести финского крестьянина,— закончил Ленин свой рассказ.

Наконец осмотрели всю усадьбу — колодец, родник, оба сеновала, поляну с земляникой, амбар, баню и вышли к дальнему от дороги краю усадьбы, где на большой поляне Петр Генрихович и Ваня пахали целинный клин. Все уселись на пригорок. Борозда у Петра Генриховича получалась ровная, четкая, как линейка в тетради. И весь этот труд казался простым, здоровым. И как всегда, когда работает виртуоз, думалось, что повторить легко и просто. Ленин, всегда любивший физические упражнения, вдруг не вытерпел и, подойдя к пашущим, попросил:

— Дайте мне попробовать.

Определенно это было несколько иное, чем писать книги. Сидя на пригорке и что-то лепеча, Вернер очень переживал за полюбившегося ему жильца: рядок у того получился кривоват, борозда с огрехами, да и сам пахарь, дойдя до конца клина, был весь в поту, будто трудился целый день.

Глядя на взмокшего, но довольного гостя, Петр Генрихович сказал:

— Я советую всей честной компании пойти искупаться. Солнышко припекает, ловите последние денечки.

И все мужчины пошли на озеро.

Озеро было прекрасным, с такими ленивыми берегами и такой сонной, глубокой тишиной, что казалось нереальным, будто родившимся в сказке. Мальчишки сразу побросались в воду, за ними разделся Рахья, а Ленин раздумывал, как ему быть с париком. Но день был так хорош, что он тоже разделся и, не снимая с головы кепку, вошел в воду.

Маленький Вернер что-то закричал, наверное про кепку, но гость уже сделал в воде один шаг, потом другой и поплыл, далеко выбрасывая руки вперед и вверх так, что от берега, где барахтались ребята, были видны лишь голова с кепкой и крепкая спина, ритмично, под взмах рук, поднимающаяся над водой.

А время подходило к обеду. Ленину снова неудержимо захотелось сесть за оставленную работу, но после обеда Лидия и Рахья должны были уезжать в Петроград, и по возвращении с прогулки Ленин сел писать письма.

Когда пообедали и стали прощаться, Ленин протянул Лидии несколько узких листков бумаги, испещренных столбиками чисел.

— Передайте это Надежде Константиновне. У вас, Лида, есть какая-нибудь книга для чтения?

— Есть.

— Заложите это в книгу и хорошенько запомните, между какими страницами положили. А в случае чего,— голос Ленина стал шутливым, глаза «страшными»,— вам придется записочки съесть. Вот так.

Лошадь тронулась. Ваня, незаменимый кучер, цокнул для бодрости и чуть тряхнул вожжами.

— До свидания, Константин Петрович.

Ленин заметил, что Лидия и Рахья сидят на телеге нарочито далеко друг от друга, по разным ее сторонам. Конспираторы...

Лидия и Эйно

В Петроград Лидия и Эйно ехали уже под вечер. Лидия смотрела в окно и удивлялась — будто не видела этого раньше,— какие красивые картины раскатывает природа. Она прикинула, что сразу с вокзала забежит на Большую Посадскую, это рядом с Певческим, с домом, чтобы через Хилтунена передать записки Надежде Кон-

стантиновне; после всего, что было, это казалось ей совсем нетрудным. Надо только, как она уже поняла на собственном опыте, организовать и делать все продуманно, не спеша и тщательно... Но главное, она чувствовала, разрешилось в ее жизни что-то основное, чего она долго ждала, надеялась, о чем боялась подумать.

Как хорошо вот так, сидя у окна вагона, смотреть на быстрые смены августовских картин и знать, что все впереди будет хорошо, сбудется загаданное и птица, называемая неясным и расплывчатым словом «счастье», сядет ей на плечо. А в чем оно, это счастье? Она-то уже знает ответ. Может быть, интеллигентная, образованная барышня скажет здесь много слов, но у нее, у Лидии, их всего несколько. Знать, что ты не одна, знать, что ты нужна, знать, что ты выполняешь важное и ответственное дело. То же самое, что ее товарищи. Лидия понимает, что всю жизнь ее и ее родителей милые и интеллигентные господа, хорошенькие барышни с бантами в волосах и щеголеватые студенты с белыми и малиновыми подкладками на куртках, все эти образованные и приветливые господа,— вся эта сытая, румяная и вежливая публика жила и продолжает жить за ее счет, за счет ее босоногого брата Вернера и отца, выхаркивающего сейчас «на природе» остаток своих легких, сожженных в литейке. Она поняла и то, что Константин Петрович, Рахья, Шотман, сестрорецкий рабочий Емельянов, все они хотят восстановить, силой воссоздать тот порядок, по которому, и только по которому, должны жить люди. Ей пока не очень ясны эти книжные примеры манипуляций с куртками и штуками полотна, но ей уже объяснили, что иголки, швейные машинки, ткацкие станки сами по себе ничего не производят, сами по себе ничего не прибавляют к сделанному. Прибавляют они, рабочие. И часть того, что прибавляют, у них крадут. Это Рахья ей объяснил. А книжки, написанные Марксом, она еще прочтет. У нее еще будет время. И она должна верить Рахье, верить тому,

что понял он, тому, что понял Константин Петрович. Рахье она теперь всю жизнь будет благодарна за то, что он вытащил ее из маленького мирка бухгалтерии, из царства «сальдо», из скучного бесперспективного мира конторских барышень в мир иных, открытых и дерзких людей, в мир самостоятельных решений и мыслей.

Лидия отводит взгляд от окна и встречается со смеющимся, озорным взглядом Эйно. Лишь на одно мгновение. На коленях у нее книга. Она барышня культурная, читает и полюбившиеся места отмечает закладками, отчетливо помня, между какими страницами вложены узенькие, испещренные цифрами листочки. А Эйно — что с него возьмешь? Издалека, невооруженным глазом видно, что пестрый, разрядившийся, как петух, финн-рабочий возвращается от родни. Простоват. Усы торчат, как у кота. Соломенная шляпа сдвинута на затылок. Нет, нет, по виду он ей совсем не пара. Так и было задумано. По виду она даже похожа на гимназистку выпускного класса. Пикник, гольф, лаун-теннис, гитара с кажущимся черным под луной бантом. Лидия выпрямляет спину, чтобы держать ее ровно, не касаясь лопатками скамьи. Глаза потуплены. Белоостров, проверка документов. Им с Рахьей на этот раз нечего бояться. Почти нечего.

Боковой карман пиджака Эйно с аккуратно пришитой пуговицей по-прежнему оттопыривается.

Револьвер? Да возьмите его, бога ради. Возил домой показать, их вон сейчас с фронта сколько повезли. Я вам за целковый спроворю дюжину.

Закладки? Какие закладки? В Петрограде книжку купила на развале.

Почти нечего бояться. Прошлый раз было страшнее, хотя книжки не было, ничего не было. Кроме «кочегара», который сел в паровоз № 293 машиниста Ялавы на станции Белоостров.

Лидия даже находит симпатичными русские добрые лица юнкеров, проверяющих документы. Ловкие, предупред-

дительные ребята. Кажется, она тоже на них произвела впечатление. Доскромничалась.

— Ваши документы, барышня.

— Пожалуйста.

— На фотографии вы еще моложе.

— Спасибо.

— Нет, правда, отчего вы такая молоденькая?

Быстрый взгляд из-под пушистых ресниц.

Этого, наверное, и не надо было делать. При конспирации — никаких эмоций, никакого кокетства. Не запоминаться, слиться с вагоном, с пассажирами. У Эйно документы проверил другой юнкер. А этот все топчется, сейчас еще, чтобы поддержать разговор, возьмется за книгу. Лоб у Лидии — она чувствует — покрывается бисеринками пота.

Эйно внезапно, совершенно неконспиративно кладет свою ладонь на ее руку, лежащую на книге, и встает. Шляпа сдвинута на затылок, усы торчат.

— У господина юнкера еще есть вопросы к моей невесте?

— Да брось ты, Саша, — один юнкер говорит другому, и дальше летит по-французски фраза, в которой лишь одно знакомое слово «чухонцы».

— Проверка закончена.

Сердце у Лидии радостно бьется. Сейчас поедет. Впервые она слышит слово «невеста» от Рахьи. Она встречается с ним взглядом. Милое, дорогое лицо. Рахья не выдерживает и улыбается. Вот так-то, дорогая невеста! Слово не воробей, теперь вместе. Надолго. Навсегда.

Будущее неизвестно им обоим. Первый красный комиссар Финляндской железной дороги Эйно Рахья не знает, что через несколько недель Надежда Константиновна Крупская передаст ему узенькую полоску бумаги, на которой убористым ленинским почерком будет написано, чтобы Рахья подготовил переезд из Выборга в Петроград до станции Удельная, где квартирой обеспечивает На-

дежда Константиновна. Исполнить это надлежало немедленно. Он еще не знает, что после этой записки от Выборга и до самого Смольного он единственный неотступно будет сопровождать Ленина. И на набережную Карповки, где в квартире Г. К. Флаксерман состоится заседание ЦК РСДРП(б), и в Ломанский переулок, где среди других стоял вопрос о штабе восстания — Военно-революционном комитете, созданном при Петроградском Совете, и в здание Лесновско-Удельнинской районной думы, на расширенное заседание ЦК с вопросом о восстании, и через весь город от Сердобольской улицы до Смольного. На Рахью партия возложит ответственность за безопасность вождя. Это он, Рахья, притворившись пьяным, при встрече с юнкерами на Шпалерной даст Ленину возможность ускользнуть. Это к ним с Лююи в Певческий переулок, в десятиметровую комнату, под проливным дождем придет ночью Владимир Ильич с заседания ЦК и, по своей обычной шепетильности, не желая беспокоить хозяев, переночует на полу, как много раз привык за свою жизнь подпольщика и революционера, на газетах. И они оба, Рахья и Лююи, долго будут помнить об этом. До последнего своего часа. И последний час соединит их, как когда-то соединил далекий август. Соединит на Коммунистических мостках Александро-Невской лавры. Два скромных камня, стоящих рядом. Две надписи. «Эйно Абрамович Рахья. 1886—1936. Член Коммунистической партии с 1903 года. Активный участник революционного движения России и Финляндии» и «Лидия Петровна Парвиайнен. 1892—1970. Член КПСС с 1917 года».

Вернер

Перемену в шестилетнем Вернере первой заметила мать: да что с сыном? Вечером спать вовремя лег! Сказала ему: «Иди спать, Вернер, пора», он и лег. Подменили ребенка. Наверное, вырастет.

Но Вернеру просто захотелось лечь пораньше спать. Потому что если рано ляжешь, то ночь проходит быстрее. А вечером, когда начало темнеть, Константин Петрович, их гость, зажег керосиновую лампу и долго писал, и тут мать и отец беспокоить его не разрешили. Вернер приспособился: сядет на порожке возле кухни, а дверь в «молочную» рядом, и ждет, не появится ли его друг Константин Петрович, не выйдет ли на минутку размяться... Он бы вышел из комнаты, а Вернер тут как тут. Вернер садился на порожек, подбегал к нему пес Натти, укладывался рядом. Вернер чесал ему за ушком, и пес лежал смирно, только крутил хвостом — отгонял от себя и Вернера комаров. Очень они оба, Вернер и Натти, приладились к порожку на кухне и своих планов никому не выдавали, но Анна Михайловна и Петр Генрихович об этих планах догадывались сами. Как увидят, что Вернер тихо и смирно сидит возле «молочной» комнаты, издалека манят его к себе и говорят: «Очень нехорошо, Вернер, отвлекать Константина Петровича от работы, ты бы пошел погулял».

А уж утро было его, Вернера.

Он проснулся последним в доме, когда все встали и мама давно подоила корову, Иван уехал на велосипеде к поезду за газетами, роса уже высохла, а Константин Петрович устал писать свои бумаги. Когда Вернер подбежал к открытому окну «молочной», он и говорит:

— Долго ты спишь, маленький товарищ. Значит, мы идем купаться?

Вернер, конечно, не понимает слов, которые Константин Петрович говорит, потому что тогда, в шесть лет, совершенно не мог говорить по-русски, а Константин Петрович по-фински, но смысл Вернер прекрасно уловил. Своей безмятежной щербатой улыбкой он дает Константину Петровичу знать, что, конечно, готов идти купаться, но просит одну минуточку на сборы.

Вернер помнит крепкий наказ отца: ходить братьям по двое и, если не дай бог что-нибудь случится — лесник

ли попадется навстречу и начнет Константина Петровича о чем-нибудь расспрашивать, или вообще братья увидят что-то подозрительное, чтобы один немедленно бежал за ним, за Петром Генриховичем, а другой неотлучно был при Константине Петровиче. Наступил час его, Вернера, торжества. Они шли купаться. Впереди Эверт, потом Константин Петрович с полотенцем через плечо, а рядом с ним по узкой тропочке семеня босой Вернер. В этом путешествии на озеро Каукьярви — Светлое — обязанность учить Константина Петровича финскому языку взял на себя Вернер. Он удивился пробелу в образовании своего спутника, потому что для его друзей и всех, кто до сих пор его окружал, финский язык был родным. Как и его старший товарищ, Вернер не любил тратить времени попусту. Жизнь коротка.

Вернер срывал алуу, еще твердую брусничку и, протянув ладошку с горячей на ней ягодкой, требовал повторения урока.

Лишь только Константин Петрович бросал взгляд на алуу ягодку, то сразу давал ответ:

— Пуолукка.

— Ойкеин,— заливался радостным смехом Вернер: «Правильно». Но тут же во взгляде Константина Петровича ловил и встречный вопрос.

Вернер морщил лобик, бросал робкие умоляющие взгляды на Константина Петровича, но тот только улыбался, и его темно-карие веселые глаза превращались в лукавые щелочки: дескать, думай, Вернер, думай. Я понимаю, что думать — это не малый труд, но надо учиться думать самостоятельно, без подсказок.

Наконец лицо Вернера озарилось такой ослепительной улыбкой, что Константин Петрович понимал — Вернер вспомнил.

— Ну?

— Клюк-ва! — радостно выговаривал Вернер.

— Брусника,— поправлял Константин Петрович.

И уже ничуть не смущаясь, мальчик выпаливал весь свой словарный запас русского языка:

— Брусника. Клюква. Красная. Молодец.

Потом купались. Вернер сбрасывал штанишки и кидался в холодную воду. Вода пахла лесом. Потом раздевался Эверт, а третьим входил в воду Константин Петрович. Он не бухался в озеро с головой, а погружался медленно, не торопясь. Когда вода доходила Константину Петровичу до груди, Вернер начинал волноваться: ведь там глубоко. Но Константин Петрович делал еще несколько осторожных шагов и взмахивал руками. Поплыл. Когда Вернер вырастет большим, он будет обязательно плавать так, как Константин Петрович, но только ни за что не станет плавать в кепке. Вернера очень удивила эта манера его старшего друга купаться в головном уборе. Он, конечно, если бы знал русский язык, спросил бы его сам о причинах такого чудачества. Но так как русского языка он тогда не знал, то задал этот вопрос папе.

Они сидели обедали. Уже съели молочный суп, заправленный молодым картофелем. Мама поставила на стол кашу, и тут Вернер спросил у отца по-фински: можно ли задать вопрос. «Ну, задай». «Можно мне задать вопрос на ухо?» — спросил Вернер. «Можно». Вернер сполз с высоковатой ему скамейки, подошел к отцу, тот нагнулся, и мальчик спросил у него: «Почему... Константин Петрович плавает в кепке?» Отец рассмеялся и посмотрел на Константина Петровича, потом сказал ему что-то по-русски. Константин Петрович тоже рассмеялся, положил на стол ложку, потер виски и ответил. Вернер понял, что напрасно задал этот вопрос. Сконфузился и спрятался за стул, за широкую спину отца. И вот когда Константин Петрович ответил, отец подтянул Вернера к себе, обнял и по-фински на ухо сказал: «Константин Петрович плавает в кепке, чтобы не простудить голову. Понял? Теперь беги на свое место, помни: когда я ем, я глух и нем. Понял?» — «Понял, папа».

Второй сладостный для Вернера час наступил после обеда. Вначале Константин Петрович работал на пригорке возле дома. Он сам открыл этот пригорок. Вернер удивился: ему казалось, что только он один знает, что на этом месте никогда не бывает комаров. Везде они вьются, а тут нет.

Наконец Константин Петрович закрыл свою тетрадочку, собрал карандаши, стеклянную чернильницу, подобрал стопкой бумаги, которые у него были, приваленные камешками, разложены вокруг,— и начался час Вернера. До ужина его время. Константин Петрович, как и он, Вернер, знает: есть время работы и время отдыха.

Они идут собирать бруснику или морошку. Это недалеко, прямо здесь, на усадьбе. Вернер показывает Константину Петровичу самые лакомые свои уголья и видит, что Константин Петрович рад, внимательно слушает его болтовню. Ни один взрослый никогда с таким вниманием, серьезностью и интересом не отдавал Вернеру свое время. Как хорошо. А завтра все повторится сначала: купание, завтрак, совместный урок, ягодник.

Но «завтра» не повторилось.

Может быть, Вернер проспал, и Константин Петрович ушел купаться на озеро с Эвертом и Федей? Окно в его комнате закрыто. Вернер, нарушая запрет, открывает дверь в «молочную». Пусто. На столе ни чернильницы-непроливайки, ни бумаг Константина Петровича. Мальчик выходит из комнаты и встречает мать. Она обнимает Вернера и, видя его глазенки, полные слез, говорит: «Так уж, сынок, получилось. Константин Петрович должен был внезапно уехать».

Вернер смотрит на знакомую округу, на лес, на колодец с журавлем, и все ему не мило. Это он сам во всем виноват. Не захотел проснуться. Ночью ему показалось, что в комнате загорелась лампа и кто-то стоит в дверях. Но это был не Константин Петрович, а какой-то священник в белой рубашке, в галстук и с бородой. Только у священ-

ника глаза были такие же, как у Константина Петровича. И сквозь сон Вернеру слышалось, что отец сказал: — Ваня, возьми весла, перевезешь через озеро.

Значит, это правда, Константин Петрович уехал.

Встретит ли Вернер когда-нибудь такого доброго и все понимающего друга? Если бы Вернеру знать.

Но Вернер многого не знал. Он не знал, что будет жить в городе, носящем имя Ленина. Не знал, что через шесть с половиной лет, зимой, отец соберет их всех и скажет: «У нас большое горе. Вы помните, шесть лет назад летом у нас был гость. Сегодня в газетах напечатано, что он умер». И у отца и у матери Вернер увидит на глазах слезы. А через несколько месяцев Вернер вместе с братьями повезет гроб с телом отца на кладбище. Как жить дальше? Тогда они еще не знали, что за несколько лет до этого правительство, которое возглавлял их бывший гость, позаботится о семье, давшей приют вождю пролетариата в незабываемом августе семнадцатого.

И два старших брата, достигшие призывного возраста, уйдут куда-то на север, на заработки. Так они скажут соседям. А потом мать с младшими детьми получают через постпредство в Хельсинки тысячу золотых марок и, попрощавшись с домом, сядут на станции Териоки в поезд, взяв с собой все имущество. И стул, на котором сидел Константин Петрович в своей комнате, и самовар, из которого он пил чай, и сковородку, собственноручно отлитую отцом, на которой мама пекла им всем оладьи. Сядут на станции Териоки в вагон поезда, идущего в Ленинград. На пограничной станции Белоостров их встретят братья, ушедшие «на валку леса», сестра Лююи и одетый в красноармейскую форму Эйно Рахья. Вернер тогда и не предполагал, что через несколько лет тоже наденет такую же форму. Все будет...

...Мороз обжигает лица. Руки мерзнут в меховых перчатках, теплые пексы не могут согреть ноги.

Полная луна освещает торчащие из-под снега черные.

бревна и трубы сгоревших домов. Такими, отступая, оставят Териоки шюцкоровцы, белофинны. А впереди — снова бой, и сейчас кому-то из добровольцев надо идти в разведку. Через Метсала, по шоссе до Кангаса, потом через деревню Ялкала. Вернер первым поднимает руку.

Луна высвечивает лес, знакомое шоссе. Подъем, спуск. За каждым деревом может таиться смерть. Слышен лишь шорох лыж да собственное дыхание. Вверх, вниз. Карабин на плече. Родные места. Черные трубы, обгоревшие развалины — Метсала. Снова обгоревшие развалины, черные трубы — Кангас. Вот и речка, соединяющая озеро Долгое с Красавицей. Противотанковый ров. «Неужели сожгли?» Последний подъем на гору, покрытую лесом. Деревня вся без окон, с выломанными дверьми. Чуть правее, теперь вниз. Вот и поляна. Еще сто метров вперед. Ничего не видно. Это поднялась снежная метель или слезы стоят в глазах? Вот и он, маленький домик, утонувший в сугробах. Почему же текут, застывая на морозе, слезы? Мать, отец, детство. Тревожный август, когда он, Вернер, был бесконечно счастлив...



Письма из Гельсингфорса



Честно говоря, я не предполагал, что после «Воспоминаний об августе» еще раз вернусь к историко-революционной теме. Там был личностный долг, живые, непосредственные впечатления. Но через журнал «Юность», где была опубликована повесть, стали приходить письма читателей. Они и заставили меня по-другому взглянуть на свою работу.

Странная будто вещь: эпизоды из ленинской истории, о которых я писал, кажется, известны, хорошо знакомы. Нет даже ни одной детали, которую я использовал в повествовании, выдуманной, все они взяты из мемуаров современников. Но у читателей огромная тяга к познанию той эпохи, людей, окружавших В. И. Ленина. Их пытливая благодарность подразумевала продолжение моего труда.

Чем больше я читал мемуарную, партийную, научно-исследовательскую литературу, уже узnanное делало чтение все более увлекательным. На все это накладывались и личные впечатления от поездок по ленинским местам, от многократного посещения Финляндии — места последней эмиграции вождя. Я представлял себе Гельсингфорс, город той эпохи, улицы, полные людей в солдатских шинелях и матросских бушлатах, город, в котором жили сыщики, то есть враги, и люди, прятавшие, охранявшие, любившие Ильича...

Вот так я и взялся за следующую повесть.

«А чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, т. е. как к искусству, мы... должны организовать *штаб* повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить *наш* штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.

Это все примерно, конечно, лишь для *иллюстрации* того, что нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, *не относясь к восстанию, как к искусству*».

В. И. Ленин. Марксизм и восстание. Письмо Центральному Комитету РСДРП(б). Написано 13—14 (26—27) сентября 1917 года. До начала Великой Октябрьской социалистической революции оставалось 42 дня.

Константин Петрович

Он знал за собой эту привычку «выхаживать» свои статьи. По диагонали, не торопясь, он пересекал комнату один раз, другой. Потом движения убыстрялись, мысль прояснялась, вбирая в себя самые существенные подробности, шаг делался шире, и вот он — привычка старого конспиратора, политзаключенного? или, быть может, это вечное житье по чужим квартирам, стремление не беспокоить соседей и не привлекать внимание? — почти неслышно он ходит из угла в угол. Не «беспокоить»? Не «привлекать»? Но, наверное, еще и потому, что от такой быстрой, бесшумной ходьбы создавалась сосредоточенность, высокая и напряженная.

Тихо в квартире. Только на кухне — в комнате чуть слышно — Эмилия погромыхивает посудой. Кормить двух мужчин — труд нешуточный. Эмилия старается все делать аккуратнее — наверное, догадывается, что он, привыкший работать всегда, везде, при любых условиях, тем не менее не любит отвлекающего шума быта?

За окном осеннее разжиженное небо и лес. Чужой лес, чужой пейзаж. И все же это почти идеально... На окраине Гельсингфорса — удобный письменный стол, два подсвечника, мирно тикающие часы с боем, комнатные цветы на тумбах — милые приметы уюта, от которого он почти отвык за годы скитаний.

Ему почему-то сразу показалось, когда он впервые увидел добрые лица Эмилии и Артура, что здесь, в этой квартире, в рабочем квартале Теле ему будет хорошо и

удобно. А что значит хорошо? Что значит удобно? Будет работаться хорошо. Значит, как всегда, быстро, стремительно, почти без помарок, с только ему и Надежде Константиновне понятными сокращениями будут ложиться на бумагу мысли. Постоянно, без сбоев и перерывов, станут приходить газеты и почта.

Вийк и Ровио все рассчитали точно: доброжелательная и молчаливая шведская рабочая семья, двухкомнатная квартира на окраине, частые отъезды в рейсы Артура — машиниста поезда, — нет ребятни с их неожиданным детским любопытством; значит, безопасно, тихо, спокойно.

Четвертое, пятое, шестое его местожительство за время очередного тайного пребывания в Великом княжестве Финляндском? И все же есть надежда, что в Гельсингфорсе — улица Теле, 46, четвертый этаж — его последний конспиративный адрес. Диапазон его убежищ велик — квартира главного полицмейстера, дача депутата парламента, квартиры рабочего-металлиста и машиниста паровоза. В этом есть своя социальная символика.

Стремительно, как курьерский поезд, летит время. За несколько месяцев событий больше, чем за иные десятилетия. Расстрел демонстрации 4 июля, съезд партии, корниловский мятеж. Шалаш в Разливе, хутор Ялкала; в гриме, с чужими документами до Гельсингфорса, и фраза, которую он написал вчера в коротком письме Центральному Комитету, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП(б), — «большевики могут и *должны* взять государственную власть в свои руки».

Сегодня в новом письме в Центральный Комитет он не стремится уклончиво оговорить это свое требование. Что продумано и взвешено — то продумано. Надо идти дальше: речь пойдет об отношении к восстанию, как к искусству. Письмо уже почти оформилось у него в голове, осталось «выходить» последние аргументы. Письмо сложили сама логика, диалектика последних событий и исторические аналогии — значит, опять диалектика...

Все выстраивалось в единую цепочку, но где же был тот миг, что послужил точкой отсчета, тот момент, который и заставил его — категорично и безо всяких оговорок — написать: «...большевики *должны* взять власть»?

Каарло Куусела

Он, Каарло,— актер, и этим все сказано. В его профессии — и риск, и дерзость, и доля авантюризма. И необходимость: открыто идти на призыв судьбы. Трусости и колебаниям, если ты актер, нет места. Робкий, трусливый и колеблющийся навсегда исчезает во мраке кулис. Актер обязан услышать зов своей судьбы. Уметь услышать. Не упустить фортуны, когда она поет в серебряные трубы, зовет лишь один раз. Только один звездный миг есть в человеческой жизни. К чему ему, Каарло, мемуары? Они уместятся на могильной плите: жил, играл на сцене, надеялся. Но для потомства его жизнь высверкнет несколькими днями, когда он вышел к рампе сцены мировой истории.

Около десяти часов утра в один из августовских дней 1917 года к нему в комнату ворвалась госпожа Каллио. Ах эти нервные дамы! Он даже предположил, что случился какой-нибудь инцидент в рабочем театре, которым он руководит. Когда дамы становятся еще и актрисами, нервность у них возрастает. Для начала он, Каарло, попросит госпожу Каллио сесть и успокоиться. Вот теперь можно было и спрашивать:

— Так в чем же дело, дорогая?

— Моему возлюбленному мужу Кустаа предстоит попасть в «Кресты» или в Сибирь. Ты разве хотел бы попасть туда?

Он представил себе эту мрачную петроградскую тюрьму для политических, представил заснеженную Сибирь и ответил:

— Нет, дорогая, туда мне попадать не хочется. И почему ты предлагаешь мне для путешествия такие мрачные места?

— Потому что они приказали Кустаа сегодня вечером ехать за «живым чемоданом».

— В партии иногда и приказывают, не только просят. А кто же он?

— Не знаю, кажется, это Ленин, и я боюсь, что власти схватят Кустаа и пошлют его в «Кресты» или в Сибирь. Кустаа всего-навсего простой рабочий. Он не привык к таким вещам, и у нас маленькие дети! У Кустаа такой суровый взгляд, его сразу схватят. Если бы, дорогой Каарло, ты помог Кустаа. У тебя седая голова, спокойное милое лицо, наконец, у тебя усы. Тебя никто не заподозрит. И семьи у тебя нет! Поезжай ты,— решительно объявила госпожа Каллио.— Ты ведь привык путешествовать, знаешь каждый уголок Финляндии.

— Но разве обязательно поймают? — сказал Каарло и тут услышал, как его судьба серебряной трубой подала первый сигнал.— Дай мне в помощники Кустаа, и вместе нам повезет. Все удастся, если принимаешься за дело решительно и энергично.

— Значит, ты согласен?

— Согласен. Что же я, даром ем рабочий хлеб?

В тот же вечер, получив все инструкции, Каарло Куусела вместе с Кустаа сел в скорый поезд и поехал.

Определенно Кустаа заразился мнительностью от своей жены. Всю дорогу он подозревал, что два русских офицера исподтишка наблюдают за ними. Может быть, это так и было, но тем не менее им удалось благополучно сойти на станции Териоки в целости и сохранности. Нет, госпожа Каллио, безусловно, знала, кого посылать со своим мнительным мужем. А его, Каарло, обаяние, респектабельный буржуазный вид, наконец, усы? Они тихо и почти незаметно выскользнули из вагона, предварительно договорившись с проводницей об отдельном двух-

местном купе на обратную дорогу на тот же вечер. Предусмотрительность — залог успеха.

Ему, Каарло, действительно известны все уголки Финляндии. Жизнь артиста — жизнь кочевая. А кому, как не кочевнику, знать, что в Териоках, не привлекая особого к себе внимания, лучше всего можно позавтракать в отеле «Иматра»? После завтрака разделили деньги. В свое распоряжение он, Каарло, получил письма и инструкции. Договорились: в случае опасности Кустаа исчезает, сделав вид, что не знаком с пожилым актером. Тот будет спасаться и выпутываться сам.

На скрипучей телеге доехали до перекрестка, который был обозначен на плане. Отослав обратно лошадь с возницей, двинулись пешком. Но не так просто оказалось добраться до места. Они с Кустаа шагали то по одной тропе, то по другой. И какое разочарование ожидало в пункте назначения! Они-то предполагали некие хоромы в декорациях ухоженных садов и розариев. А вместо воображаемого роскошного особняка или виллы стояла невзрачная маленькая избушка. И здесь живет самый известный человек в России?

На пороге этого «дворца» их встретила женщина, уже немолодая, смотревшая на них довольно-таки подозрительным взглядом. Наверное, ее смущал угрюмый вид Кустаа, потому что на его-то, Каарло, лице цвела самая обаятельная улыбка. Но актер всегда хозяин положения, и он, Каарло, вежливо спросил:

— Дома ли господин Парвиайнен?

— Нет.

— А госпожа Лидия Парвиайнен у себя?

— Нет.

Роль закончилась на прологе, потому что еще в Гельсингфорсе им обоим сказали, крепко предупредили: «Если не узнают, не примут, надо уходить и бросать все как есть». Но сдаваться не в его правилах; жизнь — борьба. И разве он, Каарло, не привык выходить из трудных обстоятельств?

— Послушайте,— сказал он тут незнакомке, но, угадывая в ней хозяйку, сказал почтительно, проникновенно, возможно, даже галантно,— я спокойный и честный человек, у меня друг в этом доме, и мне надо его увидеть. У меня для него письмо, которое я хотел бы передать ему лично.

Через минуту навстречу вышел средних лет, веселого вида мужчина. Его, Каарло, судьба состоялась!

Человек, который стоял перед ним, был совсем не похож на того, кого им описывали. Они ему тоже не были знакомы. Но он, Каарло, узнал его. Узнал сердцем.

— Меня зовут Константин Петрович.

Хорошо, пусть будет Константин Петрович. Разве от этого убудет у него, у Кууселы, уважения, почтительности, восхищения перед этим человеком? Разве имена создают людей? Люди создают свои имена. И уж коли он, Куусела, не так знаменит, если обязался на короткий отрезок времени сберечь и сохранить бесценную жизнь замечательного человека, то должен кое-что рассказать ему о себе. Он, Каарло Куусела, актер, служил директором рабочего театра в Вазе, и сейчас играет, товарищ его — тоже актер из рабочей самодеятельности. Короткие, мало чем примечательные биографии! Осталось только вручить записку, познакомить Константина Петровича с Кустаа.

Трудности возникли сейчас же, потому что госпожа Лидия Парвияйнен, которая должна была привезти из Петрограда необходимые документы, задержалась, приехала только вечером, после десяти. Времени оставалось в обрез, нельзя было терять ни минуты, поезд на Гельсингфорс уходил в три часа ночи, а впереди еще дорога до станции. Но он, Куусела, не привык терять времени даром, поэтому еще раньше, по всем правилам высокого театрального искусства, они вместе с Кустаа приготовили для нового знакомого театральный грим. И этот грим так удался, что тот, кого называли Константином Петровичем, смеялся до упаду своему нежиз-

данному облику. Короткая широкая скандинавская бородка, тени под глазами и на щеках. Это был лучший и самый похожий лютеранский пастор из всех, кого он, Каарло, видел на сцене и в жизни!

Приехала Лидия — и началось главное — зачем они с Кустаа явились сюда. Началась сама история. И он, Каарло, это понимал.

На лодке переправились через озеро. А потом — девять километров по песчаному проселку в ночных сумеречных лесах.

Они были в Териоках почти одновременно со скорым поездом. Едва успели купить билеты и вскочить в вагон, как поезд тронулся. Они боялись даже говорить. Каарло знаками показал Константину Петровичу на верхнюю полку, чтобы тот ложился спать.

Утром Каарло умылся и разбудил своего попутчика. Тот сразу поднялся. Но боже мой! Краска расплзлась по его лицу, а добротная борода в нескольких местах отклеилась. Поправить ничего было нельзя, потому что бутылочка с клеем осталась в кармане брюк у Кустаа, а он, Каарло, даже не знал, успел ли тот сесть в поезд. Надо было что-то делать.

— Придется снять всю растительность и смыть краску с лица.

— Но тогда меня могут узнать.

— Да, это в Петрограде, но не здесь. Мы же находимся далеко, в Финляндии. Кроме того, никто не поверит, что — здесь он, Каарло, сделал свою самую выразительную паузу — никто не поверит, что Константин Петрович находится в обществе Кууселы. Это совершенно невероятно. Вы просто один из моих старых друзей-актеров.

— Вы думаете, я сойду за актера?

— Обязательно сойдете.

Принялись за дело. Остатки бороды и краску снять оказалось довольно трудно, потому что в поездах не

предусматривают гримуборных, где под рукой и теплая вода, и вазелин, и легнин, которыми актеры обычно освобождаются от «чужого» лица. А поезд по расписанию, а не в соответствии с возникшими у него, Кууселы, трудностями уже подходил к Лахти, где по инструкции необходимо было выходить.

И здесь опять началось для актера Кууселы привычное — театр. Но за всю театральную жизнь никогда у него так не стучало сердце, когда он выходил из-за кулис.

Оживленно «беседуя» по-фински, рука об руку вышли на перрон. Константин Петрович хотел, чтобы шли именно так. По-фински говорил Каарло, а Константин Петрович только смеялся, но как по-фински смеялся!

— Подержи-ка, Костя,— сказал Каарло по-фински — это уже была импровизация — и бросил Константину Петровичу свое пальто,— а я пойду посмотрю, приехал ли Кустаа.

На другом конце перрона Кустаа с беспокойством разглядывал вагоны и искал их глазами. Оказывается, в Териоках Кустаа еле успел прыгнуть в последний вагон, когда поезд уже был на ходу.

Теперь предстояло отыскать контору социал-демократической газеты «Тюёмиес». Здесь в однокомнатной квартире при конторе жили корреспондент и фотограф Аксели Коски и его жена Амалия. Но это уже было делом техники. Это уже были будни. Звездный час прошел. Правда, еще необходимо было из редакции позвонить в Гельсингфорс.

— Кому вы звонили? — спросил Константин Петрович, когда Каарло вернулся, сообщив по телефону, что поездка удалась и «чемодан» на месте.

— Полицмейстеру города...

Густав Ровио

Густав Ровио, тридцатилетний рабочий-металлист из Гельсингфорса, как и улавливались, пришел к Хагнесскому рынку к одиннадцати вечера. Ситуация возникла щепетильная. Теперь, когда он — по официальному титулу — стал полицеймейстером, ему особенно часто приходилось иметь дело с контрразведкой Керенского, главной задачей которой был арест Ленина.

Определенно, у них разные цели.

Через несколько минут, как и было условлено, к афишной тумбе подошли двое мужчин.

Одного Ровио узнал сразу — депутат Вийк. Другой?.. Неужели он?

— Товарищ Ровио? — спокойно спросил по-русски другой и протянул руку для приветствия.

Это был Ленин, и Ровио видел его впервые.

Сразу же после июльских событий к социалисту и депутату парламента Карлу Вийку приехала Мария Выговская — товарищ из Петрограда — и сказала, что ей поручено организовать жилье для Ленина. Вийк позвонил Ровио, днем они встретились втроем и тут же обо всем договорились: Ленина разместят у своих людей в Кангасе, недалеко от Тампере. Но через несколько дней приехал старый знакомый, старый друг Густава Александр Шотман, Сантери, и повел речь уже по-другому:

— Искать конспиративную квартиру надо здесь, в Гельсингфорсе. И еще условие: ни одна душа об этом не должна знать. Ты не имеешь права никому об этом сообщать. Ни-ко-му, Густав!

А на кого Густав Ровио мог надеяться больше, чем на себя? Жил он в то время в пятиэтажном доме возле Хагнесской площади по Сернайсте Рантатие, дом 1, кв. 22. Никто из знакомых его не навещал, жена с сыном находилась у родственников в деревне, как раз возле Кангаса, а то, что квартира очень небольшая — комната

и кухня,— его не слишком смущало. Смущало другое...

Шотман даже пошутил:

— Как только приеду в Питер, расскажу нашим, под какой охраной живет Ленин, лица у них поначалу вытянутся. По крайней мере ни один из шпиков Керенского в твою квартиру не сунется.

— Это точно, не сунется,— сказал Ровио,— я для них вроде начальника.

А оказался металлист и социал-демократ Густав Ровио на месте полицейского чина следующим образом.

Февральскую революцию в Гельсингфорсе совершили солдаты, в основном моряки. Арестовали генерал-губернатора, сенаторов, назначавшихся русским царем, чиновников, организовали свой Совет. Но поддерживать порядок и дисциплину в городе предложили рабочим комитетам. Так была организована милиция, которую еще долго привычно именовали полицией; во главе ее стал Ровио, назначенный заместителем полицмейстера. 1 июля подал в отставку начальник полиции города поручик Шрадер — не выдержал напора новых людей. Дела принял социал-демократ Густав Ровио.

Тогда, при встрече с Шотманом, они разработали детальный маршрут: сначала в Лахти, это 130 километров от Гельсингфорса, затем до станции Мальм, расположенной в пригороде финской столицы. От Лахти до Мальма и в Гельсингфорс, до Хагнесской площади, сопровождает друг полицмейстера — Карл Вийк, социал-демократ и депутат финляндского сейма. Тем более что Вийк знал Ленина лично: они встречались в Копенгагене на конгрессе II Интернационала.

Определенно, они с Шотманом все правильно сообразили и рассчитали, но вот, когда в отделении милиции раздался звонок Шотмана уже из Лахти: «Все прошло хорошо. Завтра вечером у тебя», — тут у Ровио засосало под ложечкой: слишком уж бурно понеслись события. Только что газеты сообщили, что социал-демократы,

у которых в сейме было большинство, несмотря на запрет, собираются все же созвать 16 августа распущенный Временным правительством сейм. Генерал-губернатор Стахович пообещал разогнать сейм силой. В этой обстановке положение Ровио в роли полицмейстера становится особенно сложным. И тем не менее более безопасной квартиры в Гельсингфорсе ни у него, Ровио, ни у Вийка пока нет. А они оба, и Ровио и Вийк, понимают значение для революции личности человека, который только что так непринужденно и сердечно жал им руки.

Перед входом в дом Ровио огляделся: никого. Поднялся на пятый этаж...

Жизнь полицмейстера Гельсингфорса очень изменилась с того времени, как в его квартире на пятом этаже поселился не зарегистрированный ни в одном паспортном столе и не отмеченный ни в одной домовоей книге жилец. Внешне она осталась такой же, как обычно: охрана общественного порядка, перевоспитание бывших полицейских в духе социальных устремлений нового начальника, крупные и мелкие происшествия, партийная работа, но все это шло как бы само собой, привычно, потому что мысли Ровио были о другом. Каждый свой поступок, любое изменение в ситуации в Петрограде и России он соизмерял с безопасностью рабочего Сестрорецкого оружейного завода Константина Петровича Иванова.

В августе гельсингфорские газеты несколько раз сообщали, что Временное правительство разыскивает В. И. Ленина. «Хювюдстадбладет» даже перепечатала из какой-то петроградской газеты его биографию. Ровио с удовольствием ознакомился с биографией своего жильца, внимательно рассмотрел фотографический портрет и даже порадовался, когда читал описание примет. Ну какие же голубые глаза?! Карие!

Жилец изредка вечерами или с ним, Ровио, или с Вийком выходил из дому «размять ноги», а в субботу в баню, в сауну,— но почему-то Ровио всегда, когда

думал о нем, представлял его сидящим за столом с бумагами. Так, как он сидел в первый же вечер их совместной жизни. Лишь только из квартиры ушел, не дождавшись, пока на кухне вскипит чайник, Вийк, как только они с Ровио оговорили все, что гостю потребуется для нормальной жизни и работы, он тут же преспокойно уселся за письменный стол, будто и не было ни новой обстановки, ни дороги из пригорода к Хагнесской площади, и принялся читать русские газеты. Таким и запомнил его Ровио: со взглядом, простреливающим газетные строчки.

Ровио, как гостеприимный хозяин, сразу предложил брать на дом горячую еду из столовой рабочего кооператива «Эланто», но гость сказал, что сам сварит яйца, заварит чай,— что же еще надо? — этого вполне достаточно. А вот русские и финские газеты — здесь уровень требований значительно выше. «Самое главное для меня — получать регулярно газеты. Ни в коем случае не пропускайте газет». И здесь объявились свои трудности. Добывать-то газеты легче легкого — приди на вокзал, вечером после шести, к прибытию из Петрограда почтового поезда. И никто полицмейстера Ровио ни в чем не заподозрит,— ему по чину полагается быть в курсе политических новостей, знать конъюнктуру. Но во весь рост встал «финансовый» вопрос.

Жилец Ровио был покладист во всем, что касалось лично его быта, но щепетилен. Видимо, понимал, что тощий кошелек семейного, живущего на два дома полицмейстера, вдобавок ко всему не берущего, что испокон положено было всем полицмейстерам Российской империи, взятки, «не потянет» покупку кипы газет и постоянную отправку почты. Но у жильца были только русские деньги, а курс рубля падал быстрее курса финской марки, и поэтому банк почти не менял рубли на марки. Ввели ограничение: менять на сумму не выше чем в десять марок. А полицмейстер только на газеты тратил больше! К тому же неудобно полицейскому начальнику

ежедневно являться в банк. Газеты пошумливают о спекулянтах-валютчиках. А социалисту попасть в спекулянты очень просто, газеты об этом с большим удовольствием... И однажды в полдень, во время традиционного ежедневного «партийного» кофе, Ровио обратился к членам комитета с просьбой походить по очереди в банк. «Позже я вам объясню,— сказал он серьезно товарищам Виитасаари, Талвио, Тойво Антикайнену,— чем вызвана моя просьба, но уже сейчас обещаю,— свел все к шутке,— что ваши имена запишут в анналы истории».

В первый же вечер договорились и относительно связи. На официальную полагаться было нельзя. Но и тут все устроилось как нельзя лучше. У Ровио в почтовом вагоне на линии Гельсингфорс — Петроград работал друг, товарищ по партии, рабочий поэт Кесси Ахмала. Надежен, как бронированный сейф! Важно только знать, куда доставлять письма в Петрограде.

Вот так Ровио и жил, стараясь держать в голове и координировать, чтобы все успеть и чтобы одно не нашло на другое, свои многочисленные служебные и партийные обязанности.

Выслушивая сообщения о городских происшествиях и распределяя наряды полицейских, Густав Ровио представлял себе, как, сидя за его письменным столом, пишет или читает жилец, или мысленно видел, как Тойво Антикайнен поднимается по ступенькам банка, или как на перроне в Петрограде его друга Кесси Ахмалу, скороспелого «фронтового кавалера», ждет молодая голубоглазая блондинка. Они нежно целуются, идут рука об руку и — мгновение — уже обменялись пакетами. Петроградский пакет поедет в Гельсингфорс, на Хагнесскую площадь, а за гельсингфорсским в квартиру машиниста Гуго Ялавы, к его жене, придет немолодая женщина по фамилии Крупская, учительница, член Выборгской районной управы. И, забирая пакет, она, наверное, тоже улыбнется, когда узнает от жены Гуго, как ловко та орудует на пер-

роне с двумя пакетами. А на перроне никому и в голову не могло прийти, что счастливые влюбленные — Лююи Ялава, жена Гуго, и почтальон и поэт Кесси Ахмала * — даже не знают имен друг друга.

Агафья Атаманова

Она принялась готовиться к поездке в Гельсингфорс сразу же, как получила известие, что Ильич прибыл туда благополучно.

...Посмотрев на фотокарточку, принесенную Дмитрием Ильичом Лещенко, невольно поискала глазами зеркало: сравнить. Чужое, непривычное лицо, руки, по-крестьянски сложенные на груди. Все-таки большой мастер Дмитрий Ильич. А может быть, и она молодец? Талант перевоплощения, в конце концов, внутренний талант. Просто быть в чужом обличье опытному конспиратору нельзя, надо почувствовать себя другим человеком. Ну что ж, она и почувствует и старость, и тяжелую, все время в физическом труде, жизнь: и забитость нуждою, и большую многодетную семью за спиной,— да и у нее, правда, была не легче, потому что не знает она более изматывающей, не отпускающей от себя ни на минуту работы, чем работа революционера-профессионала. Это еще одна ипостась народной и рабочей учительницы, политической ссыльной, жены политического ссыльного, пани Модрачековой, фрау Мейер, госпожи Марицы Иордановой, госпожи Прасковьи Евгеньевны Онегиной — «дочь» дворянина Евгения Онегина почему-то не вызывала у российской полиции в 1905 году никаких подозрений,— жены «государственного преступника», жены вождя российского пролетариата, философа, журналиста.

* Кесси Ахмала, 28-летний рабочий поэт, был расстрелян в 1918 году финскими белогвардейцами во дворе Выборгского почтамта.

Внешний облик готов. Теперь в него надо хорошенько вживаться, даже научиться коряво расписываться, и это может пригодиться. Вживаться в непривычный для нее, Крупской, образ Агафьи Александровны Атамановой.

Последний раз она видела его на квартире Аллилуева 7 июля. С этой квартиры Ильич уходил в Разлив. Резанула по сердцу и тревожно запала в память последняя его фраза: «Давай попрощаемся, может, не увидимся уж». Обнялись. Она не помнила его лица в тот момент, соринка попала в глаз или воздух внезапно загустел, сделался менее прозрачным, и лица, предметы, обстановка стали какими-то размытыми, с неясными размазанными контурами, Увидятся ли еще?..

Через день, 9-го, в дом на Широкой, где Владимир Ильич и Надежда Константиновна по-родственному пристроились у сестры Анны Ильиничны, ввалилась целая орава юнкеров. Все перерыли. Сколько ненависти было в лицах! Хорошо, что уговорили Ильича скрываться, хорошо, что ЦК настоял уйти в подполье. Она тогда подумала, что, останься Ильич, случилось бы самое ужасное. И опять обыск...

С каждым днем положение становилось тревожнее. 12 июля был отдан приказ о введении смертной казни на фронте, 15-го — закрыты «Правда» и «Окопная правда», 18 июля Временным правительством распущен финляндский сейм и назначен верховным главнокомандующим генерал Корнилов, 22-го арестован Луначарский.

Все эти дни тревожно стучало сердце: как он там? Но начали приходить через товарищей, связанных с Емельяновым, записочки с разными поручениями. Значит, жив, здоров, работает.

В конце июля открылся Шестой съезд, и хотя партия перешла на полулегальное положение, она росла и крепла, уже почти вдвое больше членов было в ней, чем еще

три месяца назад. Контрреволюционные действия Временного правительства воочию показывали народу, кто прав, агитировали за большевиков.

С Широкой пришлось уйти, не хотелось доставлять родным лишних неприятностей, да с Выборгской стороны, где она теперь ночевала то у одних, то у других товарищей по партии,— ближе к Разливу, к райкому, к связным.

Из Разлива приходили не только записочки, но и рукописи статей. Писал он быстро, с сокращениями. Статьи надо было разбирать, перепечатывать, отправлять в «Правду». Работа отвлекала от тяжелых мыслей, глушила разлуку. В статьях она слышала его голос, интонацию, привычную манеру говорить и думать. Но так хотелось встретиться, перемолвиться словом. Нельзя.

Она много занималась молодежью. Выступала на съезде с основным докладом на секции. Работа в районной управе тоже требовала времени — если большевики победили на открытых выборах в районные думы, то они должны показать, как умеют работать. А в Выборгской управе работали исключительно большевики.

25 августа началось движение корниловцев на Петроград. Навстречу «дикой дивизии» были посланы большевистские агитаторы. На защиту города встали питерские рабочие. Сколько показывали они здесь самоотверженности, организованности, собранности! Корниловское наступление захлебнулось.

Время не давало расслабиться, сосредоточиться на себе, время предписывало действовать, решать большие и малые вопросы, но между этими волнами событий и неотложных дел постоянно сознание беспокоило: как он там? С утра она смотрела в окно: солнце? дождит? А погода начинала по-осеннему хмуриться.

Записочки и статьи шли сначала из Разлива, потом из Ялкала, потом из Гельсингфорса. Каждый его переезд она, хоть и задним числом, переживала, потому что знала опытом подпольщицы и партийного конспиратора, сколь-

ко все это стоит нервов, выдержки, здоровья. Так рядом — несколько часов езды на поезде — и так далеко! Взглянуть, перемолвиться. И наконец такой день настал. Пора!

Пропуск для переезда через финскую границу у Крупской был. Она помнит его в деталях: дано для проезда в Финляндию. Надежда Ульянова... Под этой фамилией, с этой фотографией, по этому документу ехать было невозможно. В лучшем случае она привезет за собой «хвост». Собралась к Емельянову, он человек опытный, преданный, живет рядом с границей, отправлял Ильича...

Весь день шел дождь. Пронизывающие струи молотили по перрону, по стеклам вагонов. На 5-й Тарховской улице уже в сумерках она нашла домик Емельянова со стоящим рядом двухэтажным сараем. Вошла, повязанная платком, со стекающей по лицу и платью водой. Николай Александрович сразу ее узнал. Еще в апреле, когда они с Ильичем возвращались из эмиграции, Емельянов вместе с другими рабочими встречал их в Белоострове, запомнил. Надежда Кондратьевна засустилась — сушить и греть промокшую гостью.

В домике на окраине поселка среди зарослей рябины и сирени ей все было интересно: как он жил? как переехал на сенокосный участок? как на сенокосе сам справлялся с нехитрым хозяйством? В то лето Емельяновы ремонтировали дом, жили в сарае, в нижнем этаже, теплом, капитальном. Ильич по всегдашней своей деликатности никого не хотел стеснять — устроился на втором этаже. Постель соорудили на сене, поставили небольшой стол, стулья. Дешевенькие, венские.

Она уже давно не удивлялась его работоспособности, умению всегда быть сосредоточенным, напряженным, тщательно анализировать события. Но невольно, сопоставив числа, подумала, что в первый же день пребывания здесь Ильич написал тезисы «Политическое положение». Гонимый, разыскиваемый, в смертельной опасности. «Вожди Советов и партий социалистов-революционеров

и меньшевиков, с Церетели и Черновым во главе, окончательно предали дело революции, отдав его в руки контрреволюционерам и превратив себя и свои партии и Советы в фиговый листок контрреволюции». И отсюда тревожный и горький вывод. Анализируя политическую обстановку в стране, Ильич показал: надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно. Объективное положение: «...либо победа военной диктатуры до конца, либо победа вооруженного восстания рабочих...» Поменялись исторические условия — поменялась тактика.

Участок Емельянова находился на берегу пруда, который протокой соединялся с озером. В пруду качалась лодка. На ней через озеро Емельянов перевез Ильича на сенокосный участок. На лодке приезжали к Ленину представители ЦК — пароль «К Карповичу», — доставляли ежедневно газеты. Озеро матово отсвечивало свинцовой глубиной. Наконец она не выдержала, попросила Емельянова отвезти ее к шалашу.

Глухо поскрипывало в уключине весло. С воды озеро казалось огромным.

Пристали в камышах, сухие стебли терлись о борт лодки, шуршали. Было тихо. Земля после недавних дождей подсохла, хотя в воздухе стояла сырость. Стога сена уже побурели, но если немножко разворошить верхний слой — пахло летом, зноем.

Она долго ходила по лесной поляне одна, молча. Емельянов, приспособившись на какой-то коряге ближе к берегу, посасывал сигарку. Потом подошел к ней, показал два пенька-чурбачка в стороне — «зеленый кабинет» — стол и стул. Здесь он работал.

Недалеко чернело кострище. Дожди уже вымыли золу, рассыпанные угли блестели на солнце.

Емельянов рассказывал, что в поисках более надежного убежища решил перевезти, через несколько дней после житья на Тарховской, Ильича сюда — в Сестро-

рекке начинал действовать карательный отряд, все время прогуливались любопытствующие дачники.

Многие рабочие Сестрорецкого завода брали в аренду сенокосные участки, расположенные за озером Разлив. Места болотистые, безлюдные. Обычно нанимали косцов, чаще всего финнов. Емельяновы распустили среди соседей слух, что осенью собираются купить корову. Все поверили, семья-то большая, только детей семь человек.

Ильича здесь донимали комары. Он шутил, что от Временного правительства спасся, а от комаров не спастись...

Обратно ехали молча.

День разгулялся, из-за низких туч кинжальными проблесками, ударяя в воду, горело солнце. Емельянов греб. Его простое надежное лицо было сосредоточенно. Тяжелые, большие руки не торопясь, но безостановочно посылали лодку вперед, ближе к берегу. Когда он откидывался назад, подбородок с упрямой ямочкой в середине вытягивался.

Что же заставляет простых, часто необразованных людей вести тяжелую и полную самоограничений жизнь революционеров? Рисковать собой, семьями, заработком?

Только ли стремление завоевать социальное равенство, жить проще, чище, лучше?

Наверное, в их сердцах живет еще и какое-то удивительное чувство справедливости. С него и социального сострадания начинается путь в революцию. Потом уже знание, опыт, пример товарищей...

Лучшие люди, соль земли.

А для нее? С чего началось все для нее? С примера отца, его скрупулезной честности, с его стремления облегчить жизнь простому, забитому нуждой человеку? С влияния сельской учительницы Александры Тимофеевны Яворской — Тимофейки, как ее звали? Образованная женщина, а заперла себя в деревенской глуши, посвятила жизнь служению народу! Образ молоденькой учитель-

ницы-революционерки, случайно встреченной на каникулах, крепко вошел в сознание одиннадцатилетней девочки.

Но как же служить народу? Как? Где найти людей, которые объяснят и научат?

Первые серьезные письма помнятся почти наизусть. Вынашиваются днями и западают в память надолго.

«25 марта 1887 года.

Многоуважаемый Лев Николаевич!

Вы, в Вашем ответе на обращение к Вам тифлисских барышень с просьбой о деле, говорите, что у Вас есть для них дело — исправление, насколько возможно, книг, издаваемых для народа Сытиным.

Может, Вы дадите возможность и мне принять участие в их труде?

Последнее время с каждым днем живее и живее чувствую... что я до сих пор пользовалась чужими трудами. Я пользовалась ими и часть времени употребляла на приобретение знаний, думала, что ими я принесу потом какую-нибудь пользу, а теперь я вижу, что те знания, которые у меня есть, никому как-то не нужны, что я не умею применить их к жизни, даже хоть немножко заглянуть ими то зло, которое я принесла своим ничегонеделанием...

Я знаю, что дело исправления книг, которые будут читаться народом, дело серьезное, что на это надо много умения и знания, а мне 18 лет, я так мало еще знаю...

Но я обращаюсь к Вам с этою просьбою потому, что, думается, может быть, любовью к делу мне удастся как-нибудь помочь своей неумелости и незнанию. Поэтому, если возможно, Лев Николаевич, вышлите и мне одну, две таких книги, я сделаю с ними все, что смогу. Лучше другого я знаю историю, литературу.

Простите, что я беспокою Вас своею просьбою, отрываю от дела... но ведь это займет у Вас не особенно много времени.

Н. Крупская.

Мой адрес: Петербург. Угол Знаменской и Итальянской улицы, дом 10/28, кв. 47. Надежде Константиновне Крупской»*.

И самое поразительное: из Ясной Поляны бандеролью пришел роман Дюма «Граф Монте-Кристо».

Карл Вийк

Знакомые говорят: «Рассеян. Может, входя в трамвай, снять калоши». Недруги: «Эксцентричен. Гордец. Себялюбец. Из известной буржуазной семьи, а связался с рабочими, с со-циа-лис-та-ми». Товарищи: «Надежен. Предан». Товарищи по партии: «Надежен, предан делу, собран. Идеальный конспиратор». По виду рассеян. Недаром говорят: «Рассеянность — это высшая форма сосредоточенности».

Он сам о себе знает: дело партии — на всю жизнь. Это убеждения. А убеждения такая деликатная и сложная материя, в генезисе которой, говоря языком научным, разобраться сложно. Гадкий утенок в респектабельной буржуазной семье. А может быть, ее совесть? Кто-то же должен расплачиваться за многолетнее присвоение прибавочной стоимости?

Рассеян — да. Отчасти. Мама писала во время конгресса социал-демократов в Копенгагене: «Я все время беспокоюсь, там у вас такие знаменитые люди, как Жан Жорес, а ты уехал в старом пальто и забыл калоши». Опять калоши!

Но ведь голову-то не забыл! Вот голову его заполучить ой как хотелось бы сначала сыщикам царя, потом сыщи-

* В документах архива Л. Н. Толстого хранится это письмо. На конверте рукой дочери Льва Николаевича написано: «Отвечено». К сожалению, этого ответа не сохранилось. История же романа Дюма такова: Надежда Константиновна летом 1887 года отредактировала его и отослала в Ясную Поляну.

кам Временного правительства — кадры те же, установки схожие: посмотреть, что же у него в голове? В какой взвеси «лояльное» и «крамольное, нигилистическое»? Какова терминология! Слово «социализм» пугает. Даже слово пугает. Угрожающее, неласковое для них слово. Поэтому эвфемизмы: крамольное, нигилистическое! Если бы можно было новомодными лучами Рентгена просвечивать всем головы и смотреть, что там внутри, какой цвет прева ли ру е т: красный или лояльный, белый? Красный — очень беспокойно. Если бы и из спектра можно было его исключить!

Раздражающий цвет.

Вот гельсингфорсский купец Краснобрюхов понимает запросы времени. Говорят, обратился в свое время к царю с просьбой о перемене фамилии. Царь вошел в положение верноподданного: уважаемый человек, купец первой гильдии, миллионер, а посему повелел: цвет у «брюха» сменить. Очень симпатичная, а главное, политически выдержанная получилась фамилия. Синевбрюхов. Пиво теперь во всем Гельсингфорсе синевбрюховское. Можно пить, не опасаясь проникновения в организм пьющего коварной политической заразы.

А если не дай бог мысли окрашены в розовый или — ужас! — красный цвет? Как увидеть?

Не может пока наука этого обеспечить. Даром академия кушает свой хлеб. Потому и приходится сыщикам и филерам виться вокруг не б л а г о н а д е ж н ы х.

Вот они — сыщики и филеры — возле него, Вийка, и вьются. С молодых, с ранних лет. Как со студенческой поры зачислили в разряд «подозрительных», так и приглядывают: рассеянный человек, как бы не оступился прямо в Сибирь. Но рассеянный знает их всех в лицо. И когда среди семи человек «тайного» штата — как принято, аппарат гельсингфорсского управления больше официального списка — появляется новое лицо, новая физиономия, он, Вийк, мысленно ставит ее в свою вообра-

жаемую картотеку. Для порядка. Наблюдателен и педантичен — да, рассеян — нет. Рассеян для плохих наблюдателей.

Что за стыд: даже к мальчишке в свое время привязывались. Это они думают, что они тайные, вроде феев-невидимок. Очень полновесные феи.

Если двадцатилетний мальчишка — увы, был он и таким! — в очках, если немыслимо близорук, значит, не видит, не замечает? Рассеянные — они памятливые. Они чрезвычайно сообразительные. Он, Вийк, знает, по какой л е г а л ь н о й причине он появлялся, допустим, 22 декабря 1901 года — вот откуда веревочка вьется! — на железнодорожной станции с «двумя господами» и по каким личным мотивам некую даму провожал еще раньше, в апреле. Так что, милые господа из сыска, фиксируйте эти события в своих донесениях и журналах «наблюдений». Но что обрящете?

Изрядный, наверное, накопился у вас за последние шестнадцать лет материал. Из полицейского архива все рано или поздно попадет в архив истории. В архив борьбы. Вам, господа, кажется, что вы все знаете. Все ли? А вот что все нити транспортировки большевистской литературы в годы войны сходились в руках рассеянного, близорукоего Карла Харальда Вийка — это уж, извините, господа из ретивого докучливого ведомства, это вам доподлинно неизвестно.

Три нити связи. И ни одного провала. Наш скромный вклад в революцию в России. Неизвестно вам, господа, и еще кое-что... Это правильно и справедливо говорят — партийный долг. Он готов выполнять свой партийный долг по отношению к партии, к любому ее члену. Но участие в судьбе Ленина для него означает несколько большее, чем просто соблюдение долга.

Вийк, журналист, меломан и лингвист, Карл Харальд Вийк, швед финского происхождения, знает, что свою свободу и независимость обожаемая и любимая родина

Финляндия получит только в результате борьбы сначала с царизмом, потом с продолжателями его дела из Временного правительства. Но так же знал и знает он, что получит она ее только в результате совместной борьбы с русскими товарищами. Он даже сам поражается, как рано все это понял, практически еще юношей.

Разве не сам он, не собственной рукой написал по-русски еще в 1905 году, во время студенческих волнений, текст совсем не безобидной листовки. «Финляндские друзья свободы,— объяснял он своим русским согражданам,— требуют свободы слова, печати, собраний и союзов, а также созыва народного собрания, в котором народ свободно сможет высказывать свои мысли и требования. Мы требуем, таким образом, то же самое, что требуют друзья свободы в России. Мы отнюдь не питаем никаких дурных намерений к русскому народу, который мы, финляндцы, любим и уважаем».

Возможно, тогда, в юности, формулировки его были еще несколько расплывчаты, но так народу и понятнее — друзья свободы. И уже тогда он понял, кто в русской социал-демократии были истинными друзьями свободы.

Он, близорукий и рассеянный Вийк, действительно рискованный человек. В двадцать два года, будучи редактором еженедельника «Арбетарен», когда в России в декабре пятого года возникла новая волна стачек и забастовок, он, Вийк, опубликовал в своем еженедельнике Программу РСДРП, принятую на Втором съезде партии. Первая в истории международного движения после смерти Маркса и Энгельса революционная Программа, в которой в качестве основной задачи выдвигалась борьба за диктатуру пролетариата. Но соль этой публикации еженедельника — Программа провозглашала право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства.

И он, Вийк, знал, что самые последовательные в русской социал-демократии — большевики. Он связывал

в своем сознании свободу Финляндии с течением большевизма в российской социал-демократии. С течением, которое возглавляет Ленин.

Разговор с приехавшей из Петрограда женщиной — товарищем по партии — и потом разговор с Шотманом и Ровио тоже не был абстрактным. Магистр философии Вийк весьма конкретно представлял значение этого русского — в своем дневнике он так и будет для конспирации именовать Ленина, а что касается любопытствующих, то он за дневник не боится. Если тот попадет в чужие руки, пусть любопытный человек и расшифровывает его собственный, Вийка, шифр: сразу на трех языках, да еще с сокращениями, известными только ему, эдакий ребус для преемника охранного отделения и вообще для любого дотошного с нездоровым интересом ведомства — он, Вийк, очень хорошо представлял значение этого русского для российской социал-демократии, для мировой социал-демократии, для дела свободы в России, для дела свободы его дорогой Финляндии. И он еще слишком хорошо помнил крепкое рукопожатие этого коренастого мужчины с короткими усами и бородой.

Этот русский был для него не только вождь, но и товарищ, но и — может быть, он, Вийк, думает о себе слишком лестно? — но и друг. Не в природе людей, владеющих высшей формой сосредоточенности, подводить друзей.

Коренастый мужчина с короткой бородой и усами подошел к нему в перерыве очередного заседания VIII конгресса II Интернационала. Ораторы тогда в Копенгагене были и посильнее магистра философии, но магистр говорил о наблевшем: об угнетении его Финляндии, о своей родине.

«Царизм,— заканчивал он свою речь,— это подавление всех трудящихся, думающих и чувствующих людей. Царизм — это тюрьма, подземный карцер, Сибирь. Каждая победа царизма — это поражение цивилиза-

ции. Царизм — это смерть. И потому мы, борцы за жизнь, должны сопротивляться царизму до конца».

Вийк сразу узнал подошедшего к нему товарища. Ульянов-Ленин. И запомнил энергичное, сильное рукопожатие.

— Нам надо поближе познакомиться. Возможно, пути наши сойдутся в будущем.

Ленин сразу же начал разговор о деле. О транспортировке большевистской литературы из-за рубежа через Финляндию. Но как это сделать? Вийк вызвался получать пакеты по почте и пересылать их дальше, но Ленин не одобрил: все надо было конспирировать. То, в чем остро нуждалась Россия, стало для него основным принципом жизни. И вскоре он, Вийк, сделал тот же вывод в другом, более важном деле.

На конгрессе в Копенгагене встал вопрос, поднятый французскими товарищами, о том, что в ответ на разразившуюся войну рабочие должны объявить всеобщую забастовку.

Он позже в письме спросил мнение Ленина по этому поводу.

Как марксист, Ленин отверг эти захватывающие, но нереальные, далекие от практической жизни идеи. Однако он сделал очень важную оговорку: «Конечно, мы обязаны сказать рабочим, что они не смогут освободиться без революционной борьбы, было бы преступно не говорить об этом трудящимся».

Вийку показалось тогда, что у Ленина был слишком русский взгляд на это дело. Но в душу каждого руководителя пролетариата надо было заронить идею о том, что рабочим необходимо сказать правду, преступление — не делать этого по каким-то «тактическим соображениям».

Самое удивительное, что пути их действительно сошлись.

Еще с первых статей этого поразительного русского Вийк привык доверять его политическому чутью, авто-

ритету, знаниям и огромному опыту. Он хорошо запомнил, кто одним из первых бросился на защиту Финляндии, когда в марте 1910 года Столыпин по указанию царя внес в Государственную думу проект о порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения.

Слишком расшалилась Финляндия после пятого года в смысле свободолюбия! Слишком стала свободолюбивой. Царь хотел бы недвусмысленно заявить, что он еще и «великий князь Финляндский». Финляндский самодержец. Уже через полторы недели Ленин заклеил позором «национализм самодержавия», давящий всех «инородцев». И тут же пророчески сказал: «Придет время — за свободу Финляндии, за демократическую республику в России поднимется российский пролетариат». Такое не забывается друзьями свободы.

Он, Вийк, всегда нес этому русскому главные вопросы, заставлявшие тревожиться сознание, колебаться между «да» и «нет». Самые мучительные и тяжелые колебания.

И всегда получал ясный и, главное, подтверждаемый дальнейшим течением жизни ответ.

В июне семнадцатого во время заседаний Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в Петрограде они обсуждали вопрос о восстановлении большевистской транспортной линии через Швецию — Финляндию в случае победы в России контрреволюции. Тогда Лениным были произнесены лестные слова: он дал ему, Вийку, полную свободу действий, так как, по его мнению, такого надежного подпольщика больше не встречал.

А вечером в редакции «Правды» Вийк рискнул спросить:

— Когда открывается Учредительное собрание? Будет ли какой-нибудь толк из него?

Ленин развел руками:

— Не ждите ничего от Учредительного собрания,

а также и от нынешнего съезда. Расскажите рабочим Западной Европы, что Керенский и генералы готовят контрреволюцию.

К сожалению, он и тут оказался прав.

Но окажется прав — и он, Вийк, в этом уверен! — и в мысли, которую неустанно повторяет сейчас, о том, что через несколько месяцев, недель свершится в России новая революция. И они оба — и Ленин, и он, Вийк, — на нее работают. Ленин — силой своего интеллекта, Вийк — тем, что помогает укрывать Ленина от филеров и сыска правительства. Вот так и мостится путь к освобождению пролетариата, путь к свободе его дорогой Финляндии.

Со всей серьезностью отнеслись они с Ровио к поручению Шотмана. Все шло по плану, который разработали и предусмотрели они втроем. Вийк-то понимает, почему Ленину необходимо жить именно в Гельсингфорсе: большой город, легче затеряться и главное — связь: здесь быстрее, чем где бы то ни было, становится известно, что в Питере, что в России.

Конспирация — это не прихоть и перестраховка революционеров, это жестокая необходимость их жизни. Все поэтапно. Сначала провинциальный Лахти.

Он, Вийк, с нетерпением ждал сигнала от Шотмана. И наконец из Лахти Шотман говорит по телефону Ровио: «Все благополучно».

Это означало, что удивительный русский уже в квартире фотографа социал-демократической газеты «Тюёмиес» — ах эта привычка писать и думать сразу на нескольких языках! — Вийк по привычке и перевел: «Тюёмиес» — «Рабочий» — у Аксели Коски и его жены Амалии.

У Вийка достаточно развито воображение, чтобы представить себе всю обстановку. Небольшой деревянный домик в центре города, встречу Ленина с изволновавшимся в ожидании его Шотманом, гостеприимство Амалии. Но Вийк понимает, и Шотман понимает, что в этом доме оставаться их гостю долго нельзя. Теперь его, Вийка, этап.

Кажется, совсем недавно встречались они в «Правде» на Мойке — и вот уже он, Вийк, едет, стараясь не привлекать к себе внимания, в Лахти.

Все правильно. Правильно, что едет именно он — парламентская неприкосновенность! — и правильно, что едет р а с с е я н н ы й человек, знающий того, кого будет везти, и сумеющий говорить со своим спутником на нескольких языках.

Он едет, представляя его лицо, крепкое рукопожатие, блеск карих глаз, град вопросов — внезапных, точных, — которые по обыкновению упадут на него, и... не узнаёт.

Тот же смелый блеск глаз и крепкое, уверенное рукопожатие. Мастер конспирации не он, Вийк, а этот удивительный русский! Ни бороды, ни усов — открытое, спокойное лицо, по-волево сложенные губы. Талантливый человек талантлив во всем. Нет и в помине подавленности, бесплодной мечтательности, что так характерно было бы для эмигранта.

Прямо в Гельсингфорс ехать было невозможно. На большом столичном вокзале много глаз, много русских. Наверняка бродит парочка дотошных господ, заглядывающих в лица и вынюхивающих, чем бы заполнить журнал «наблюдений». Не исключалось, что и в вагоне, в котором они ехали из Лахти, могли быть соотечественники русского: им лицо гостя известно, газеты крутили свои ротационные машины, а люди могли оказаться разные.

Ехать до Рихимияки, потом пешком? Решили сойти позже, в Керава, а там пригородным поездом до Мосабаки и пешком до Мальма, почти пригорода Гельсингфорса, на дачу к нему, Вийку.

По-русски говорить было ни к чему — привлекать внимание: немецкий опасен — война! — хотя гость владел им в совершенстве. Когда приближались к какому-нибудь жилью, переходили на французский. В поезде русского усадили у окна, прикрыли лицо занавеской — спит! Рассеянный человек подал кондуктору сразу два би-

лета. Кондуктору важно, чтоб билеты были, а выяснять, кто едет, не входит в его служебные обязанности.

Наконец и дом в Мальме, можно и передохнуть. За домом овраг — это удобно, дом на пригорке: незваные гости видны издалека. Святая душа мама. Привыкла не задавать сыну лишних вопросов. Но все же мать, хозяйка... Позже он намекнет: «Это был человек самый известный из всех, бывавших в нашем доме». Недаром мать поминала Жореса в письме в Копенгаген. Догадалась...

Константин Петрович

После шалаша, после глухого, затерянного в лесу хутора, после целого месяца кочевой и опасной жизни он впервые здесь, в Мальме у Вийков, в благоустроенном доме. Его всегда мало волновал комфорт — лишь бы был стол, бумага, ручка или карандаш, книги, газеты, — но он не был к нему безразличен: необходимые удобства, тишина в комнате, сосредоточенность давали возможность работать продуктивнее. Сколько все же дорогого времени уходит на эти переезды, игру в прятки с полицией, сколько уходит нервов, и как страдает работа, а значит, дело его жизни, из-за перебоев в связи, из-за того, что его насильственно отторгли от народных масс, от Петрограда, где совершаются главные, основные события!

Правда, в этих переездах он тоже берет свое: какой калейдоскоп лиц, типов, характеров! И за каждым судьба, суждение о времени, отношение к происходящему. Все это не бесследно — это знания о живой народной жизни.

Революция воистину всколыхнула, перемешала все слои общества, поменяла социальные роли. Только в его эпоху участвовали профессиональные революционеры, железнодорожный машинист, барышня-конторщица, артисты-любители, рабочий-металлист, крестьянин, ведущий полунатуральное хозяйство, парламентарий, а завтра или

послезавтра ему еще предстоит встреча со столичным полицмейстером. Все вздыбилось, поднялось и мирно не осядет — обратного пути нет. Класс пошел на класс.

С жадностью, попав в дом Вийка, он накинулся на книги. Тепло, уют, относительная безопасность, но главное — книги. У финского парламентария хорошая, почти щегольская библиотека, правда в своем большинстве на французском языке и главным образом художественная литература. Художественная литература подождет, когда-нибудь настанет и ее черед. Цепким взглядом книжника и книгочая он пробежал по корешкам — «Анти-Дюринга» не было.

На одной из первых страниц рукописи своей новой книги он сделал пометку: «Найти в «Анти-Дюринге» и перевести с немецкого то место (кажется, в конце одной из глав «теории насилия»), где он [Энгельс.— *Авт.*] говорит, что Дюринг только с оханьем и аханьем допускает мысль о насильственной революции, тогда как всякая насильственная революция играет величайшую роль, перевоспитывая массы, переобучая их, поднимая необыкновенно их самосознание, самоуважение и т. д.». Не было у Вийка и «Нищеты философии», и «Гражданской войны во Франции». Как всегда во время работы, всплывали новые повороты, отыскивались новые доказательства. Нужны были книги. Жаль, придется искать уже в Гельсингфорсе.

А вот «Террор» Мишле может пригодиться и сейчас. Идеолог мелкой буржуазии с ее колебаниями и половинчатостью. Принимал Великую французскую революцию и считал экономическое неравенство неким божественным законом. Он просмотрит эту книгу: мелкий буржуа всегда мелкий буржуа, на каком бы языке он ни говорил. Эсперанто средних доходов. Фигура типическая в буржуазном обществе. Но ее надо знать.

Главное для него сейчас — работа, начатая в Разливе и Ялкале. Синяя школьная тетрадь, которая из Разлива пропутешествовала во внутреннем кармане пиджака Шот-

мана с вложенными в нее тремя листочками, исписанными с обеих сторон,— план будущей книги. Он дорожит этой работой, представляет ее ценность для партии и даже предупредил товарищей, что, если с ним что-нибудь случится, надо издать. Издать даже тетрадь. В подборе и выделении цитат уже мысль.

Работа хорошо продвинулась на хуторе, да и в Лахти он не терял времени даром.

Несколько дней назад, когда внезапно в их сельской глуши возникли два финских актера, он как раз остановился на 39-й странице. Если бы только удалось выполнить то, что он обещал читателям в предисловии!

Точные, выражающие самую суть слова. Он не станет их править даже когда, закончив книгу, будет, перед тем как отправить ее в набор, перечитывать заново. Хватило бы только сил и времени.

«Мы рассматриваем сначала учение Маркса и Энгельса о государстве, останавливаясь особенно подробно на забытых или подвергшихся оппортунистическому искажению сторонах этого учения. Мы разберем затем специально главного представителя этих искажений, Карла Каутского, наиболее известного вождя второго Интернационала (1889—1914 гг.), который потерпел такое жалкое банкротство во время настоящей войны. Мы подведем, наконец, главные итоги опыта русских революций 1905 и особенно 1917 года. Эта последняя, видимо, заканчивает в настоящее время (начало августа 1917 г.) первую полосу своего развития, но вся эта революция вообще может быть понята лишь как одно из звеньев в цепи социалистических пролетарских революций, вызываемых империалистской войной. Вопрос об отношении социалистической революции пролетариата к государству приобретает, таким образом, не только практически-политическое значение, но и самое злободневное значение, как вопрос о разъяснении массам того, что они должны будут делать, для своего освобождения от ига капитала, в ближайшем будущем».

Вот так. Книга, обращенная к истории, но о действиях широких пролетарских масс сегодня.

Практически-политическое значение! Каждая «мелочь» имеет сейчас это значение. И вот он опять должен прервать работу над давно вынашиваемой книгой, потому что в революции нет мелочей.

Он еще раз разворачивает свежий, от 8 августа, номер «Новой жизни» и быстро, сразу схватывая суть, перечитывает изложение речи Каменева на заседании ЦИК Советов 6 августа по поводу Стокгольмской конференции.

Вот они, преимущества скорой связи, чего он был лишен в Ялале: Вийк оказался подписчиком газеты. И лучше плохие известия, чем никаких.

Неужели товарищ по партии не понимает необходимости партийной дисциплины! Чудовищные пассажи: видите ли, Каменев выступает «от себя лично», «наша фракция этого вопроса не обсуждала».

Есть точка зрения Апрельской конференции, ее резолюция, есть решение ЦК против участия в Стокгольме. И если это решение не отменено съездом или новым решением ЦК, то оно остается за-ко-ном для партии.

...Видимо, посвятить вечер синей тетради не удастся.

Завтра с утра Вийк уезжает в город по своим парламентским делам, и он может забрать статью для «Пролетария», чтобы переслать ее в Петроград.

Насущное, сегодняшнее, сиюминутное вторгается в сон, в планы, в неотложное и такое важное дело.

Он кладет перед собой лист бумаги, задумывается, восстанавливая в памяти всю цепь событий.

Датский социал-шовинист Боргбьерг, приехав в апреле 1917 года в Петроград, предложил от имени скандинавских социалистов созвать в Стокгольме международную конференцию всех социалистических партий воюющих и нейтральных государств.

Меньшевики и эсеры предложение приняли. Большевики решительно высказались против участия в Сток-

гольмской конференции, считая для себя позорным идти на совещание с социал-империалистами, с перешедшими на сторону своей буржуазии «социалистическими» министрами. Немецкие спартаковцы примкнули к большевикам, оборонческие — французская социалистическая и английская независимая — рабочие партии после долгих колебаний от участия в конференции отказались по мотивам социал-патриотического характера. Но уже до этого начавшаяся война выявила лицо вождей социализма в разных европейских странах.

Война не наступила внезапно. Внезапен и неожидан день и час ее начала. Но ведь недаром социализм — наука, и эта империалистическая война была предугадана. Еще в 1912 году на Чрезвычайном международном социалистическом конгрессе в Базеле был принят манифест о войне.

Война не могла не возникнуть. Капитализм достиг своей высшей ступени — империализма — лишь недавно. Росло противоречие между новым соотношением сил, вызванным неравномерностью развития капитализма, и разделом колониального мира. Почти весь земной шар уже оказался поделен в форме колоний ли, посредством ли запутывания чужих стран тысячами нитей финансовой эксплуатации. Германский империализм, быстро выдвинувшись, предъявил претензии на передел мира «по капиталу».

Капитализм развил производительные силы настолько, что человечеству предстояло либо перейти к социализму, либо годами, даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу «великих» держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний, монополий и национального угнетения всяческого рода.

К началу войны шесть «великих» держав захватили пространство, в два с половиной раза превышающее размерами Европу. На каждых четырех жителей «великих» пришлось по пять в «их» колониях.

С точки зрения буржуазной справедливости Германия, безусловно, была против Англии и Франции, ибо она «обделена» колониями, ее враги угнетают несравненно больше наций, чем она.

Царизм — с точки зрения его «справедливости» — ведет войну за преобладание на Балканах, за Константинополь и черноморские проливы. В войне царизм ищет и средство погасить рост недовольства внутри страны, подавить растущее революционное движение.

И вот, предвидя все это еще в двенадцатом году, Базельский манифест прямо заявляет, что в случае наступления войны социалисты должны использовать создаваемый ею «экономический и политический кризис» для «ускорения падения капитализма».

Все забыто. Недаром сейчас в своих заявлениях социал-шовинисты обходят трусливо, как вор место кражи, те строки Базельского манифеста, где говорится о связи именно этой войны с пролетарской революцией. Все забыто.

Буржуазия, тратя миллионы на пропаганду, уверяет, что ведет борьбу за родину, за свободу и культуру, а на деле — чтобы разграбить конкурента.

А вчерашние социалисты, науськиваемые национальными комитетами миллионеров, называемыми правительствами, голосуют за военные кредиты.

Какие пышные панегирики родине, патриотизму, отечеству! Но вопрос об отечестве нельзя ставить, игнорируя конкретно-исторический характер данной войны, ее классовые цели.

В каком шовинистическом угаре оказались многие вожди II Интернационала! Каутский «научно» защищает подлейший шовинизм, председатель Международного социалистического бюро II Интернационала бельгиец Эмиль Вандервельде первым из социалистов входит во время войны в правительство. Социализм подменяют национализмом. Из-за изменнической позиции вождей

рабочие партии не противопоставляют себя преступному поведению правительств.

Последовательны были лишь большевики. Для них не подлежало никакому сомнению, что, с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России, необходимо поражение царской монархии, реакционного и варварского правительства, угнетающего огромную массу населения Европы и Азии.

Горстка большевиков, депутатов Государственной думы, с самого начала войны заняла интернационалистскую позицию. В знак протеста против принятия военных кредитов большевики покинули зал заседания и повели нелегальную революционную работу среди масс.

Но как не хотелось социал-шовинистам в глазах общественности выглядеть социал-шовинистами!

После начала войны к русскому посланнику в Бельгии князю Кудашеву обратился бельгийский военный министр. Ходатайствовал о пропуске телеграммы Э. Вандервельде к русским социалистам.

Новый министр юстиции и по совместительству «социалист» призывал к активному участию в борьбе с «прусским милитаризмом». Посланник Кудашев настаивал на просмотре телеграммы. После свидания в приемной военного министра с Вандервельде князь проредактировал текст социалиста, заменив «борьбу с империализмом» «борьбой против прусского юнкерства».

Российское министерство иностранных дел отправило телеграмму меньшевику Чхеидзе, но еще до передачи думской фракции социал-демократов телеграмма обошла всю буржуазную печать.

Большевистская думская фракция на совещании с руководящими работниками Петроградской партийной организации выработала достойный ответ министру-социалисту. Как всегда, ликвидаторы заявили: «Мы в своей деятельности не противодействуем войне», а фракция Чхеидзе отделалась молчанием.

Принципиально, как интернационалисты, действовали только большевики. Уже в начале августа 1914-го Петербургский комитет выпустил листовку с лозунгами «Долой самодержавие!», «Да здравствует социализм!», «Да здравствует демократическая республика!». А в феврале пятнадцатого начался суд над думскими депутатами-большевиками, обвиняемыми по статье 102 — «участие в организации, ставящей задачей свержение существующего государственного строя».

История оппортунизма повторяет себя. Только на этот раз оппортунист Боргбьерг вместо оппортуниста Вандервельде. От себя «лично» Каменев говорит, что революция, дескать, отступила во вторые окопы и в таком случае хороша и Стокгольмская конференция. Но Каменев, видимо, забыл, что большевики — это последовательная и принципиальная марксистская партия.

Как же не понять, что те социалисты, которые приняли точку зрения буржуазии в настоящей войне, перестали быть социалистами, изменили рабочему классу, перешли на деле в лагерь буржуазии. Стокгольмская конференция есть собеседование министров, состоящих в империалистических правительствах. Звать рабочих идти в Стокгольм, звать их дожидаться Стокгольма, звать их возлагать какие бы то ни было надежды на Стокгольм — это значит говорить массам: «Вы можете, вы должны ждать добра от соглашения мелкобуржуазных партий и министров, состоящих в империалистских правительствах, поддерживающих империалистские правительства».

Он еще раз внимательно просматривает газетный отчет, выделяя карандашом нужные для работы места, потом откладывает газету и придвигает к себе чистый лист почтовой бумаги в серую крупную клетку:

«Речь тов. Каменева в ЦИК 6 августа по поводу Стокгольмской конференции не может не вызвать отпора со стороны верных своей партии и своим принципам большевиков...»

Густав Ровио

Ровио плохо спал, его тревожило одно обстоятельство.

За несколько дней до того, как ему назначили встречу возле афишной тумбы у входа на Хагнесский рынок, у него случились неприятности по работе. 4 августа большая толпа рабочих подошла к зданию биржи, и милиционеры, среди которых было много бывших полицейских, применили — проклятые привычки! — дубинки. Получилось все отвратительно, Ровио очень из-за этого переживал, но тем не менее ответственность за случившееся нес именно он. Всем всего не объяснишь, Ровио грозили расправой. Правда, сам он мог дать сдачи любому, но в этой ситуации он волновался не за себя. Хорошо, что и Вийк понимал возникшие сложности.

И вот эта мысль — о безопасности гостя — беспокоила Ровио всю ночь. Тем не менее по привычке, выработанной еще с юности, с завода, Густав поднялся рано. Протянул руку, достал швейцарские на 15 камнях — он ими гордился и дорожил — часы марки «Зенит»: время еще было.

Стараясь не шуметь, Ровио сложил раскладушку, навел на кухне порядок — по отношению к чистоте был педантом, — что-то зажевал перед уходом на работу, выставил на стол хлеб, масло, яйца, на видное место поставил чайник, собрался и только тогда заглянул в комнату.

Его гость мирно спал. Мягко, по-медвежьи, ступая, Ровио подошел к столу и уже отсюда хозяйским оком оглядел комнату: все в порядке, чисто — и гость, оказывается, был аккуратистом. Его одежда сложена, пиджак висит на спинке стула и тут же расправлен и подготовлен — чтобы всегда был под рукой — седоватый паричок.

На столе тоже образцовый порядок. Перед тем как лечь гость убрал рабочее место. Газеты сложены по сгибам, аккуратно подобранная стопка бумаги в крупную клетку и уже пухлая пачечка исписанных листов.

Стараясь не разбудить взглядом спящего, Густав схватил небольшой кожаный саквояж — за ним и приходил, потому что решил, что с такой респектабельной тарой удобно ходить за газетами: конечно, полицмейстер должен интересоваться политикой, но не скупать же газеты целыми пачками и потом демонстративно нести их под мышкой, — и, уже уходя (снова не утерпел!), взглянул на спящего.

Усталое, сосредоточенное даже во сне лицо и одновременно беззащитное, детское в своей открытости и простоте. Когда он, интересно, заснул? Ровио помнил, что, просыпаясь среди ночи, видел неяркий свет под дверью в комнате. Допоздна работал! Казалось бы, только что приехал, мог бы и отдохнуть. Лет на пятнадцать, наверное, старше его, Ровио, уже немолодой, значит, человек, а так истязает себя работой. Скрывается, рискует жизнью...

Ровио тихо закрывает дверь, но щемящее чувство сострадания к спящему остается. Пожилой человек, скитается по чужим углам, питается почти всухомятку, живет под чужой фамилией. И тут Ровио улыбается, вспомнил: он и сам живет под чужой фамилией.

Когда же он стал Ровио?

Прислушался: нет ли соседей на лестничной площадке, открыл и затворил за собой входную дверь и начал спускаться по лестнице.

Так давно, что, кажется, если кто и помнил его фамилию, то теперь забыл.

В феврале 1910-го, как только он появился в Петербурге, его вновь арестовали. Арестовали — это еще не доказали. Тактика большевиков на допросах ему известна — молчать, никаких показаний. Ему месяц в тюрьме сидеть — не привыкать. Кормят, поят, самое время почитать, заняться самообразованием. Внимание к нему, к Густаву, господина министра внутренних дел тоже не в диковинку. Под гласный надзор полиции в Тверь? Пожалуйста, налево, кругом, марш! Это даже честь: в печати объявили, назвали опасным политическим преступником.

Он еще не очень опасный политический преступник: и знает мало, и сделал во имя свободы, равенства и счастья всех трудящихся недостаточно, но он постарается, будет совершенствоваться. А коли преступник, значит, надо переступить через закон. Через несправедливый, буржуазный закон. Переступил из Твери с ее гласным надзором прямо... в Гельсингфорс. Так сказать, инкогнито, в соответствии с навыками подпольщика и конспиратора. И уже здесь, выученный российскими гласными и негласными порядками, чтобы избежать административной высылки, поступает крутенько. Какой такой Густав Равелин? Он такого и не видел, о таком и не слышал, с подобным не знаком. Вот Густав Ровио — этот есть, пожалуйста: молодой, с веселыми голубыми глазами, медвежьей походкой очень сильного человека, железными руками и крепкой шеей борца.

Теперь уже началась настоящая политика. Не бунт, не взрыв, не ущемленная свобода. Напряженная и методическая политическая работа. Так сказать, последний класс самовоспитания: сначала политэкономия, вернее, даже экономика. Простенькая, элементарная, как в церковно-приходской школе. На уровне крошечного кругозора замордованного непосильным трудом рабочего. Но познанная на собственной шкуре. Политика была позже, уже когда Равелин стал Ровио.

Ему, Густаву Ровио, есть чем гордиться. Сознательный человек. Но это ведь того, кому с детства все дано, все подводит к развитию ума и способностей, для того быть сознательным человеком само собой разумеется. Грех таким не сделаться. А он сам себя воспитал, поднял, сделал человеком. Сам — и партия, дело, в которое он поверил и которому служит.

А дано ему было быть безотцовщиной и инородцем, выросшим за Невской заставой в северной Венеции, в городе Петербурге. Прекрасный город для обучения и постижения жизни: меньше часа ходьбы от самого дна, от

шлагбаума, за которым полная, без обратного хода и надежды нищета, нужда и пьянка, до подъездов Зимнего с усатыми кормленными гвардейцами. Только час ходьбы. Но с Невской заставы не дойдешь и за тысячу человеческих жизней. А по дороге — это уже из лексикона нынешнего Густава — а по дороге вся социальная расстановка России в дворцах и особняках. Как на известной картинке: семеро с сошкой, а один с ложкой. С сошкой был он, Густав Равелин, на самом низу...

Ну хоть не полной ложкой, хоть ложечкой, хоть без ложки щепотью, но есть хочется. Кто не работает, тот сладко ест — правило для паразитов, для тех, кто наверху, выше их, Равелинов, в чинах и капиталах.

А что еще оставалось вдове модельщика Семена Равелина с завода «Атлас»? Четверо сыновей на руках. Всем четверым — Вяйне, Йозефу, Эмилю и младшему Густаву — пришлось бросить школу и искать работу.

Из школьного класса — в класс пролетариата. Всем четверым, и даже двенадцатилетнему Густаву. Но его удалось пристроить на «теплое», кажется, местечко — к купцу-финну, владевшему в Демидовском переулке пекарней и магазином. Хорошо, хоть к своему, к финну, значит, будет снисхождение на малолетство. Но у богатых и бедных — разная национальность. Тут Густав получил первый урок национальной политики: мальчик-финн у купца-финна работал по четырнадцать часов в день, кроме, конечно, пасхи и рождества. Без выходных. Как соотечественник. Прислуживал хозяину и хозяйке, приказчикам и служанкам, бывал бит и обижен.

«Ванька Жуков, девятилетний мальчик...»

Кто же такое выдержит? Кто же такое стерпит?

У предпринимателя Галкина нашлась лишь одна вакантная должность — молотобоец. Очень хорошая должность для развития молодого, неокрепшего организма. Понравился Галкину плечистый и рослый паренек. Попробовал, благословясь. Смог! Но русский Галкин и финн из

Демидовского были с одной родины: чистогана и прибýtка. Быстрее стучи молотом, юный молотобоец, а если тебя качает, когда ты выходишь из кузницы, если красные круги перед глазами — это до смерти пройдет. А уж когда кому помирать — это и Галкину неизвестно, но детишек своих на всякий случай в молотобойцы он не пустит.

Было интересно отвечать ударом молота на постукивание молоточка кузнеца. Перед русско-японской войной 1904 года армия довооружалась. Хозяин покрикивал: давай, давай, ребята!..

Ребята «давали». Вишневые поковки превращались в детали. Летела окалина. Между молотом и наковальней возникала прибавочная стоимость.

Здесь уже всполошилась мать.

Между молотом и наковальней могло навсегда остаться здоровье молотобойца. Густав исхудал, кожа да кости. Тогда мать поклонилась кому надо. И сразу: да, да, все же покойный модельщик тридцать лет отработал на «Атласе», а мы, дескать, блюдем семейные традиции, думаем о своих рабочих, помогаем им, мы, хозяева, как старшие братья! — «по старой памяти» взяли Густава на завод.

Он, Густав, даже не смог бы сказать, с чего все началось. С разговоров с Александром Васильевичем Шотманом — Сантери, как называли его финны между собой, с разговоров с другими рабочими, с вечеров, когда собирались молодые слесари и токари с «Атласа» за чашкой чая послушать кого-нибудь из интересных людей. С чего? Но постепенно привычными и понятными стали для него слова «социализм», «агитатор», «эксплуатация». Все больше и больше молодой рабочий с «Атласа» (для полиции и для тайной полиции этот «Атлас» — рассадник неблагонадежности) начал задумываться об устройстве жизни, все чаще вспоминал расхожую среди рабочих шуточку: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был господином?» Очень мерзко и несправедливо устроен мир, но тогда он,

Густав, как и многие молодые рабочие, думал: «Если царя поставить в известность, как живут рабочие, нашим кровопийцам Галкиным и прочим несдобровать...»

Христолюбивый русский царь очень быстро развеял последние иллюзии питерского пролетариата и паренька-финна, старательно несшего тяжелую хоругвь к подъездам Зимнего дворца. До дворца финну дойти не удалось. У Троицкого моста остановили его винтовочные выстрелы. Как других таких же финнов, украинцев, белорусов, русских остановили у Нарвской заставы, на Шлиссельбургском тракте.

Повезло тем, кто не дошли до Дворцовой площади...

После Кровавого воскресенья он, Густав, и связал свою судьбу с большевиками. Осенью пятого стал членом кружка, который вела Тетка, а в декабре был принят в партию. На Кровавом воскресенье закончились подготовительные классы. В человеке проснулся человек сознательный.

Потом все факты личной, Густава, биографии, все свинцовые мерзости жизни, выстроившись в один ряд, приобрели форму закона этой жизни. В ней человеку с Невской заставы можно было жить только так, как он живет. Не жизнь, а прозябание. Прозябать под ярмом. Значит, надо изменить жизнь. Несмотря на сложившийся тысячелетний порядок. Сбросить ярмо. Изменить — и все.

И должны это сделать не Шотман, не Тетка — Прасковья Францевна Куделли, одна из первых его партийных учительниц, не кто-то еще другой. Он сам, Густав Равелин.

Этот вывод, к которому его подвели старшие товарищи и сама жизнь, был как вспышка, как озарение, как личный его, Густава, замечательное открытие. И ему сразу стало хорошо, спокойно и весело. Было для чего жить! Не то что ради полной ложки наваристого супа. Но это было уже у б е ж д е н и е. Убежденному в своей правоте человеку всегда легче.

А потом все пошло очень быстро: первый арест, второй арест, первый побег, второй побег, исчез Густав Равелин, но все его дела и обязанности по партии принял на себя Густав Ровио. Агитатор, разъездной организатор Союза металлистов, ответственный секретарь ЦК Социалистического союза молодежи Финляндии.

А потребовалось — стал полицмейстером.

...По чисто вымытым улицам Гельсингфорса, как всегда, в утренний час полных публики, служащих, торопящихся в конторы, солдат и матросов, направляющихся с узелками в баню, кухарок, спешащих на рыбный рынок к гавани, священнослужителей, приказчиков, судейских, барышень из банков и магазинов, шагал среди этого люда энергично, но не торопясь, представительный молодой мужчина в ладно сидящей тройке, в галстук и шляпе. Цепочка от часов мягко струилась по жилету, в руках у мужчины был небольшой кожаный саквояж, с которым обычно ходят на вызовы врачи и акушерки. Может быть, действительно врач? Или управляющий конторой банка? И только по тому, как почтительно и подчеркнуто молодежато встречающиеся по дороге милиционеры приветствовали человека с саквояжем, можно было предположить, что специальность у него другая. Хранитель городского порядка.

Хранитель шел, зорким взглядом подмечал все мелочи на улице, думал о тысяче своих служебных дел, о своем житье-бытье, о прошлом и будущем, о почтовом поезде Петроград — Гельсингфорс, который, как обычно, прибывает вечером около 18 часов, — надо не опоздать! — о политической ситуации, о своем жилье, которого он оставил спящим в квартире, о разговоре с Вийком, ему сегодня надо позвонить и предупредить о своих сомнениях, о том, как бы в этом городском порядке сохранить, сберечь дорогую и такую необходимую для партии жизнь.

В Разливе они долго с Емельяновым разглядывали ее документы. Ехать по ним чистое безумие. Слишком уж известная фамилия. Прикидывали. Нелегально, без документов перейти границу? Перед отправкой Ильича в Финляндию пробовали, все осмотрели, проверили все щели — граница стережется надежно. Перевезти на лодке мимо форта и высадить на финском берегу? Так они, Емельяновы, в пятом году доставляли из-за границы оружие. Ненадежно, время больно тревожное. Надо наверняка. Прикидывали и так, и эдак.

Наконец Николай Александрович вспомнил. На станции Райвола когда-то жила его тетка Агафья. Агафья Александровна Атаманова. Хотя Райвола и на финской территории, но недалеко: обыватели работают на Сестрорецком оружейном, приписаны к тутошней волости, по своим заводским удостоверениям могут беспрепятственно переходить границу. Да на них и внимания господ юнкера и господа офицеры особенно не обращают: примелькались. Шастают взад-вперед то на работу, то родственников проведать, что с них возьмешь — ра-бо-тя-ги.

Теткины документы!

Но тут возникли новые осложнения: весной тетка умерла, и было ей на двадцать лет больше, чем Крупской. Но разве ей, Крупской, привыкать маскироваться, носить чужое платье, разве на своем веку мало она говорила с молодыми и старыми работницами? разве плохо знала, как они говорят, как ходят, как думают, как себя ведут?

Еще очень давно, когда «Союз борьбы» готовил так и не вышедший из-за налета полиции первый номер «Рабочего дела», и Ильич — тогда ослепительно молодой, двадцатипятилетний, — писал и тщательно редактировал статьи и заметки, и случалось, что материалы, приносимые рабочими, не отвечали на вопросы, его интересовавшие,

то он просил ее и Полю — Аполлинарию Александровну Якубову — помочь. А что значит помочь? Это значит узнать точно, как рассказывают только свой своему. И тогда они с Аполлинарией вдвоем, повязавшись платочками, — молоденькие, сияющие деревенской наивностью! — шли в фабричные общежития и там, посерьезнев, спрашивали, говорили, собирали недостающее. И ведь справлялись, проскальзывали через проходные под недружелюбным взглядом сторожей и сторожих. Разве все это забыто?

Но на удостоверение нужна фотография!

Опять вспомнили о старом партийном товарище Дмитрие Ильиче Лещенко. Человек архинадежный, смелый. В 1905—1907 годах у него, тогда секретаря большевистских газет, Ильич часто ночевал. А теперь Лещенко помогает ей по культработе в Выборгском районе. Ему дорожка в Разлив знакома. Именно он приезжал фотографировать Ильича в гриме и парике.

К фотографической съемке платье, какое попроще, немаркое, неброское, по возрасту, отыскала и дала Надежда Кондратьевна, платок был.

К писарю Сестрорецкой волости Емельяновы пошли вдвоем, по-семейному, так больше доверия. Да и писарь многие годы был их соседом. Так и так, мол, Василий, помоги: тетка престарелая из Райволы пожелала приехать в гости, но что со старой возьмешь — удостоверение потеряла, некультурная старуха, не умеет хранить документы, да они ей и ни к чему, а вот фотографию прислала, просит выдать ей новое удостоверение. Емельяновы были люди степенные, положительные, многодетные, да и что ни говори — соседи добрые, а с соседями лучше жить в ладу. Почесал Василий Антипов в затылке, поколебался было, но для своих решил пренебречь бюрократической волокитой, запросами, проверками, помнил, что тетка у Емельянова была, даже вроде ее раньше и видел, заполнил бланк, приклеил к нему фотографию — и дело сделано, а волостной старшина подмахнул и шлепнул печать.

Емельяновы поселили свою гостью в маленькой комнате сына — Кондратия. Обстановка самая спартанская — стол, стул, железная кровать, этажерка.

Пока гостила в Разливе, она много читала. Емельяновы по традиции доставали ей почти все газеты, что выходили. Старалась между газетными строками полнее понять, что происходит, вспоминала и формулировала в памяти, что за последнее время без Ильича услышала и увидела в городе. Он будет спрашивать долго, подробно, вникая в мелочи. Она к этому привыкла: сопоставляя «мелочи», он всегда делает неожиданные и точные в своей правоте выводы.

Константин Петрович

Он всегда с нетерпением ждал возвращения Ровио с работы.

Ровио поворачивал замок своим ключом, входил и тут же, улыбаясь, раскрывал свой саквояж. Удивительный все же запах у свежих газет, у только что отпечатанного слова!

Он любил запах типографской краски, еще липнущую к рукам газетную полосу. Сила печати — во внедрении нужных и передовых мыслей в сознание народа. Удивительно, как слово, постепенно овладевая умами и сердцами масс, становится действием, боевой силой. Так было с «Искрой», которая сплотила партию, на его жизни так бывало не один раз.

Он любит слово, его точность, многогранность, блеск его оттенков. Недаром часами мог читать толковый словарь.

Наверное, Ровио был человеком, которого он чаще всего встречал в Гельсингфорсе. Ежедневно. Даже когда переехал к Усениусам на Фредрикинкату, 64, газеты все равно оставались за Ровио. Тот стучал в дверь, ему отво-

ряла фру Мария. Что же сегодня в кожаном саквояже? Ровио, конечно, отличный человек, но ему надо напоминать, напоминать...

Недаром он считал Вийка прекрасным конспиратором. Человек с рассеянной внешностью поэта, казалось, мог предусмотреть все. Очень решительный этот человек извлек его через несколько дней из квартиры Ровио.

— Мы для вас присмотрели хорошую квартиру, где есть все удобства и хозяйка будет готовить вам еду.

— Яичницу делать я умею, чай завариваю, а больше мне ничего и не надо.

— Так не годится. Сухомятка — это для студенческих лет. Фру Усениус предупреждена и ждет.

Они шли по мосту через залив Кайсаниеми, мимо вокзала с его мрачноватой архитектурой до Фридриховской улицы.

— Привет с Камчатки! — Это был пароль.

Все складывалось удачно, и, главное, он не так сильно стеснял хозяев: Артур Усениус был в командировке в Швеции, сестра фру Марии в отъезде, и Константин Петрович Иванов воспользовался ее комнатой. Много работал, ложился поздно, часов в восемь-девять шел на прогулку — в Гельсингфорсе в ту пору освещения не было, боялись налетов «цеппелинов», — иногда заходил поговорить в кухню, очень любил свеклу, зажаренную в масле.

— Когда же вы спите, господин Иванов? Вам надо бы и отдохнуть.

— Отдохнуть я еще успею, дорогая фру Усениус.

Когда являлся Ровио с газетами, забывал и чай и еду.

Газеты из Петрограда приходили не регулярно, бывали перебои. Но очень хорошо продвинулась книга. Из 84 страниц ее рукописи 44 написаны здесь, на квартире Усениусов. Осталась седьмая глава — «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов». Тема, конечно, необъятно велика, о ней можно и должно писать и писать. Придется ограничиться только самым главным — уроками опыта,

касающимися непосредственно задач пролетариата в революции по отношению к государственной власти. Было бы время...

Его книга не только история борьбы пролетариата; собранные и осмысленные знания позволяют и ему самому лучше ориентироваться в сегодняшнем грозном дне, держать руку на пульсе событий.

Газеты приносят вести не самые утешительные. Удары буржуазных партий приходится все время отбивать. Шестой съезд принял четкую резолюцию: «...меньшевики окончательно перешли в стан врагов пролетариата». Здесь не просто газетная полемика. Борьба, перипетии которой позволяют массам лучше и точнее взглянуть на происходящее.

Буржуазные газеты с их игрой в демократию исподволь делают свое дело. Увеличивается влияние большевиков на массы, — значит, надо поливать грязью и лгать на их вождей. Но пролетариат должен знать цену этому печатному слову. Грязь и политический шантаж — традиционное оружие буржуазии против инакомыслия. Значит, надо быть последовательными в клеймении шантажистов на страницах своей партийной печати. Быть непреклонными в разборе малейших сомнений судом сознательных рабочих, судом своей партии, ей мы верим, в ней видим ум, честь и совесть нашей эпохи. И никакой податливости так называемому «общественному мнению» наемных перьев.

Все мысли его в Петрограде. Конец августа. Он отчетливо представляет жизнь города с очередями в продовольственных лавках и роскошью ресторанов. Заклеенные афишами улицы, Невский, полный инвалидов в военной форме, торгующих папиросами и спичками.

Холодная невяская волна подмывает равнодушные бастионы Петропавловки. Трубы Путиловского, заводов Нарвской заставы и Выборгской стороны выстреливают в низкое небо столбы дымов: идет бессмысленная и кровавая

война, и предприниматели делают все возможное, чтобы мускульные и интеллектуальные усилия «непредпринимателей» превратить в новые капиталы и новые деньги. И идет другая жизнь — в министерских кабинетах, в сговоре буржуазных партий, в шушуканье красноречивых «лидеров», в обмене «мнениями» элиты буржуазии и генералитета. Все это выплывает на страницах газет в ловких статьях, рассчитанных на недостаточную подготовленность обывателя; в округлых фразах треплются слова «демократия», «свобода». Но за этими фразами лишь одно стремление — сначала сбить волну революции, а потом при помощи казаков, юнкеров схватить пролетариат за горло, загнать в окопы, в рабочие казармы, все оставить по-прежнему, вернуть к привычному для буржуазии порядку вещей. С царем ли, без царя — это значения не имеет — важно сохранить самое дорогое царство — царство денег.

Он внимательно следит и разъясняет в своих статьях политическую обстановку в стране. Временное правительство после пополнения его кадетами — еще один перерез тепленьких местечек! — играет роль ширмы для военной клики. Новый главнокомандующий Корнилов и министр-председатель Керенский кружат один возле другого, пытаясь чужими руками удушить революцию и установить режим личной власти. О власти надо судить не по словам, а по делам. Сегодня — безнаказанность юнкеров, громящих «Правду», убивающих правдивых, завтра — закон о закрытии газет, закон о роспуске неугодных правительству собраний и съездов, о введении смертной казни на фронте. И все это при попустительстве меньшевиков и эсеров из ЦИК.

Реальная власть ускользнула из рук Советов. Бумажные резолюции. «Совет требует от Временного правительства!» С марта 1917 года наизусть заученная и бессмысленно повторяемая формула. Сила отошла, а «требование», не опирающееся на силу, смешно. В июльские дни

правительство получило в свое распоряжение контрреволюционные войска, а ЦИК Совета — тогда не «требовал» — снисходительно смотрел на попытки правительства разоружить войска, преданные революции, отобрать у рабочих дружин оружие. Спасла «рабочая самодеятельность» — отдавали негодное, недееспособное, старое.

Нынешние Советы провалились, потерпели полный крах из-за господства в них эсеров и меньшевиков. Они бессильны и беспомощны перед победившей контрреволюцией. Поэтому призывать сейчас к передаче власти Советам значило бы обманывать народ. Лозунг «Вся власть Советам!» необходимо было снять. Рабочим нужны Советы не как органы соглашения с буржуазией, а как органы революционной борьбы с ней.

Снятие лозунга — временная мера, а не вопрос о Советах вообще. Партия не собирается отказываться от построения будущего пролетарского государства по типу Советов...

Может быть, он никогда столько не писал, как в этот бурный и тревожный август. Не по своей воле ушел он в подполье. И здесь у него только одно оружие — научный анализ, дающий провидческую силу интеллекту, и опыт. И обороняется, и наступает, объясняя народным массам истинную расстановку сил, организуя пролетариат и беднейшее крестьянство на последний и решительный бой. Перо — его оружие. Если когда-нибудь будет время, быть может, он сосчитает, сколько же написано за эти недели. И каждая статья, каждое письмо — это его боль, его разочарование или его надежда. Мысли диктует разум, а умом часто руководит сердце, сострадание и чувство справедливости. Вот так они и возникают, рубцы на сердце.

«За деревьями не видят леса» — это о рассуждении Мартова об отношении к Временному правительству. Не

замечает сей публицист, повторяя самые опасные политические ошибки мелкобуржуазной массы, где главный штаб контрреволюции. Поистине — за деревьями не видит леса.

«О выступлении Каменева в ЦИК по поводу Стокгольмской конференции».

«Политический шантаж» — о травле большевиков буржуазной прессой.

«Слухи о заговоре» — о тактике большевиков на случай контрреволюционного выступления.

«Из дневника публициста. *Крестьяне и рабочие*» — о необходимости союза пролетариата с беднейшим крестьянством.

«Бумажные резолюции» — о Советах как безвластном учреждении и о Временном правительстве — полном пленнике контрреволюционной буржуазии.

А сколько писем, записок, заметок! Разве все упомянешь. Все запомнит только история. Это работа на революцию — работа тяжелая, черновая.

Надо пользоваться каждым поводом, чтобы разъяснять, объединять, направлять.

«Известия Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» 19 августа напечатали «Примерный наказ, составленный на основании 242 наказов, доставленных местными депутатами на I Всероссийский съезд крестьянских депутатов в Петрограде в 1917 году». Ведь эсеровская газета, отражающая политику коалиции с буржуазией и оппортунистами в аграрном вопросе («Не брать земли до Учредительного!»), и так промахнулась! Сами себя высекли! Ничто лучше, чем этот «Наказ», не говорит о том, что эсеры изменили крестьянам. Теперь, если внимательно читать материал в этой газете, видно: эсеры представляют не массу крестьянской бедноты, а большинство зажиточных хозяев. Они ведут крестьянство к союзу с капиталистами, то есть к подчинению им. Продали интересы трудящихся и эксплуатируемой массы за министерские местечки, за блок с меньшевиками и с кадетами.

Достаточно соотнести это с требованиями крестьян, чтобы увидеть полную невозможность осуществить их в союзе с капиталистами, без самой решительной борьбы с классом капиталистов, без свержения его господства. Вот куда надо перенести центр тяжести в пропаганде и агитации против эсеров!

Он чувствовал и видел назревание новой политической ситуации.

Иногда газеты приносили почти неожиданные повороты событий. И снова приходилось ставить их в ряд, вычленять из них суть, искать, как в судопроизводстве: *cui prodest?* — кому выгодно?

ЦИК Советов постановляет отсрочить выборы в Учредительное собрание до конца октября. ЦИК угодливо предлагает Временному правительству то, что ему бы хотелось. Временное правительство решает перенести эти выборы на середину ноября. Выиграть время, чтобы перегруппироваться, собраться с силами и задушить пролетарскую революцию. А пока собрать Государственное совещание. Эдакий собор единства армии, крупной буржуазии и помещиков — «общественных сил». Совещание в глазах народа должно придать авторитет Временному правительству. Все это шито белыми нитками, и ЦК в своей резолюции очень точно раскрывает сущность происходящего.

Совещание собирается в Москве, подальше от наэлектризованного питерского пролетариата. Но московские рабочие показали контрреволюционерам, что те ошиблись в своих расчетах. Неслыханная забастовка протеста. Митинги на фабриках и заводах. Вот оно, общественное мнение!

Это серьезный факт. Грозные симптомы надвигающегося очистительного восстания в России. В этом громадном пролетарском центре вполне возможно нарастание движения типа 3—5 июля.

Тогда в Питере была задача: придать стихийной

вспышке мирный и организованный характер. Это был верный лозунг. Теперь в Москве задача стоит совсем иная; старый лозунг был бы архиневерен. Теперь задача — взять власть самим и объявить себя правительством во имя мира, земли крестьянам. Весьма возможно, что на почве безработицы, голода, железнодорожной стачки, разрухи подобное движение в Москве вспыхнет.

Если вспыхнет стихийное движение, лозунг должен быть — именно взятие власти. В прогнившей империи все бурлит. Даже здесь, в Финляндии.

Социал-демократы попытались, вопреки постановлению Временного правительства, 16-го открыть сейм — правительственные войска заняли парламент. Маннер, председатель сейма, «сломал пломбы на дверях» — вызвали казаков.

В тот день, зная о происходящем, он нервничал, шагал по комнате, выпытывал у фру Марии: «Вы не слышали, что творится в городе?» Фру Мария выходила на улицу, в магазине расспрашивала женщин... Начинать было еще неразумно, еще рано.

Книжку его «Государство и революция», видимо, придется сдавать в набор без последней главы. Ему хорошо работалось у фру Усениус. Но ведь у него есть и свои маленькие «житейские» принципы: по возможности никому в быту не мешать. Возвращались в город муж и сестра Марии. Снова пришлось переезжать к Ровио. Снова его блистающая чистотой до стерильности квартирка и ожидание, когда повернется в дверях ключ хозяина.

На этот раз вечером 28 августа Ровио вбежал почти без обычных предосторожностей.

— Контрреволюция наступает.

— А как именно, товарищ Ровио?

— Генерал Корнилов поднял мятеж.

Он, Вийк, пишет свой дневник не из честолюбия, не из надежды обрести славу летописца. Он — рассеянный человек. Он держит в памяти главную идею, а от всего остального — освобождается. Освобождается, но всегда знает, где взять, где посмотреть. А потом влияние нормальной буржуазной семьи с ее привычками к гроссбуху, к записи расходов и подведению итогов душевного баланса. А может быть, неискоренимая привычка юности? И все же — такие события накатывают на него, Вийка, встречи с такими интересными, а подчас уникальными людьми, такие молнии сверкают над его дорогой отчизной, над Финляндией, что — какие там потомки! — хотя бы для себя оставить вехи знаменательных дней!

Так быстротечна жизнь, не успеешь оглянуться, а от тебя только горстка политических статей. Так хоть перелистать свои дни, на ладони ощутить весомость своих тетрадей и блокнотов.

Привычка детства, юности, зрелых лет! А потом, все же он, Вийк, достаточно искушенный жизнью человек и разве не чувствует посвиста птицы свободы, режущей ветер над своей головой, как чайки над Гельсингфорсом? А вдруг его записи, эти тайные дневники, станут свидетельством поразительной — он в этом уверен! — неповторимой эпохи.

Дневники — благо. Он, правда, не имеет столько времени, чтобы писать, как графоман: что пил, что ел, как работал желудок. Его дневник — дневник политика. Он делает рабочие записи, фиксирует заседания фракции парламента, переговоры с партийными деятелями в Петрограде. Его дневник — дневник завоевания национальной независимости для Финляндии. И эту свободу он безоговорочно связывает с большевиками.

Принес ли февраль Финляндии политическую самостоятельность и национальную свободу? Ленин прав, главная цель Временного правительства — «тормозить как можно осторожнее и незаметнее революцию, все обещать, ничего не исполнять». Правда, в марте Временное правительство приняло «Манифест об утверждении конституции Великого княжества Финляндского и о применении ее в полном объеме». Отменило царские законы, ограничивающие эту конституцию. Но не было намека на предоставление национальной независимости. 17 апреля — всего несколько месяцев назад — он, Вийк, и другие члены ЦК СДПФ побывали на заседании меньшевистского ЦК, так называемом Организационном комитете. Они просили Организационный комитет разъяснить им свое отношение к финляндскому вопросу.

Организационный комитет разъяснил: «Задача благоустройства отдельных частей России в настоящую минуту должна отойти на второй план», а «вопрос о взаимоотношениях между Финляндией и Российским государством в целом может и должен быть решен только соглашением между финляндским сеймом и российским Учредительным собранием».

Вот так.

И не «за» и не «против». Плеханов и его группа советовали не ставить вопроса о независимости. Позиция эсеров была позицией движения на месте, холостого хода.

Только большевики последовательно защищали права всех наций, в том числе их, финнов. «Мы за то, чтобы Финляндии была дана полная свобода, тогда доверие к русской демократии усилится...» Это Ленин. Тот же апрель.

В июле финляндский парламент утвердил «закон о власти», провозгласив себя представителем суверенных прав Финляндии и приняв на себя законодательную и исполнительную власть, а Временное правительство немедленно парламент разогнало...

Две точки зрения.

Его, Вийка, дневник полон разных политических разговоров. Многословные речи Чхеидзе, Либера, Дана!

Лишь бы все было тихо, гладко. Лишь бы не созывать сейма, не вносить новых осложнений в их демократию. И речи товарищей: Куусинена, Маннера, Смирнова. Опять две точки зрения. Все это понятно в конкретности только ему, Вийку. И в этом путеводителе по его дням совсем неприметными кажутся коротенькие записи.

«В половине четвертого был у Ровио, который просил меня съездить за русским. Я поехал...» Это поездка в Лахти.

«Посетил фру У. В 10 часов отвел русского к фру Усениус». Тоже запись двухнедельной давности.

«Написал письмо в Стокгольм по просьбе... В 7.30 был на квартире у фру Усениус, получил письмо в Стокгольм».

И здесь никаких для него, Вийка, нет неясностей. Через Юрье Сиролу, социал-демократа, начала действовать конспиративная связь с Заграничным бюро ЦК.

Как это их гость успевает столько писать? И писать так по делу, что к этому прислушивается вся Россия? «Отвел русского на его квартиру».

Это к Блумквистам. Он, Вийк, всегда считал, что квартира Ровио — идеальный, но резервный вариант. Нечего дразнить судьбу. Квартира полицмейстера слишком на виду.

Вот так их большевистский гость и узнает географию Гельсингфорса. Это уже другой конец города, от Фридриховской улицы, улицы Теле. Артур и Эмилия Блумквисты — прекрасные люди, абсолютно надежные. И есть отдельная комната. Можно и работать спокойно, и отдыхать. Если только гость из России когда-нибудь отдыхает.

Одно неудобно. Хозяева, шведы по национальности, говорили по-фински. А вот русским языком не владели. Правда, по-немецки понимали, но с трудом. Ничего, в быту Ленин человек покладистый, а вечерами ежедневно, как

всегда, будут приходить Ровио, он, Вийк, финские товарищи.

Главное, что удобно для работы. Главное, чтобы не было никаких провалов — р а с с е я н н о м у человеку незачем портить свою репутацию прекрасного конспиратора.

А вот и еще в его, Вийка, блокнотах одна запись сокращенными шведскими словами: «Передал через Б-ста книгу Ленину».

Нет, определенно, он, Вийк, сын своей буржуазной семьи. Откуда тогда такая страсть к двойной итальянской бухгалтерии? Потому что в тетради записей учета и выдачи книг из библиотеки архива Социал-демократической партии Финляндии, которым он, Вийк, имеет честь долгие годы заведовать, есть под тем же числом и еще одна запись: «Русскому. Маркс. Рев. и контррев. в Герм.».

Агафья Атаманова

Ночь в Разливе перед поездкой в Финляндию.

Сон долго не шел. Казалось, что может случиться? Документы в порядке, одета она правильно, в «образе». И все же была настороже: какая-нибудь мелочь может сорвать тщательно продуманный план.

До границы, до пропускного пункта ехали по заводской узкоколейке. Крошечная «кукушка», посвистывая, тянула три вагона рабочего поезда; публика соответственная, своя, рабочая. Нервничала. Успокаивало только, как всегда, уверенное лицо Емельянова. Провожает старуху-родственницу. Делает вид, что немножко сердит на нее.

Перед самым отъездом у них случился инцидент. Она долго не решалась, но за время жизни в их доме, наблюдая их чистый, до бедности простой и экономный быт, все же расхрабрилась. Понимала, что значит в нынешних условиях каждый лишний рот. Развязала платочек и вынула

оттуда 75 рублей. Произнесла, стесняясь и чувствуя, что краснеет, какую-то неловкую фразу.

— Возьмите, пожалуйста, теперь я получила деньги, а Ильич так долго жил у вас, питался...

Как он на нее посмотрел!

Но жизнь есть жизнь, и она все же его переупрямила: засунула деньги под тарелку. Понимала некоторую наивность своего поступка, но по-другому не могла.

Едет в Финляндию в чужом платье, с чужими документами... А еще совсем недавно, в апреле, полные уверенности и надежды, мчались они через эту страну в Россию... Ну, правда, уверенности и самых твердых надежд у них достаточно и сейчас. Она любит эту северную страну — сколько с в о и х людей через «форточку», через щель, которую сначала царское, а потом Временное правительство старались захлопнуть, удалось спасти, вывезти, отправить в эмиграцию. Молчаливые, спокойные, умеющие держать слово люди. И внезапно она улыбнулась.

Чуть набычившийся Емельянов, увидев улыбку на лице спутницы, от которой она так неконспиративно помолодела, тоже улыбнулся. Мир был восстановлен. Она вспомнила одного из самых давних своих знакомых, финна. Где он сейчас, что с ним?

...Воспоминания молодости — самые острые. Жизнь в Шушенском помнилась во всех подробностях, даже бытовых: как пели, как катались на коньках, как сама посадила огород. И помнит лица всех ссыльных. И особенно рабочих — их было только двое: шляпочник — поляк Проминский с женой и детьми и путиловский рабочий Оскар Энгберг, финн.

Проминский обладал точным классовым инстинктом, был спокойным, уравновешенным и очень твердым человеком. Оскар совсем иного типа. С тринадцати лет работал и кем только не был: клепальщиком в доках, учеником

золотых дел мастера, смазчиком в сталепрокатном цехе на Путиловском. Сослали за забастовку и буйное поведение во время нее. Читал разную всячину, о социализме — самое смутное представление. Раз приходит из волости: «Новый писарь приехал, сошлись мы с ним в убеждениях». — «То есть?» — «Да и он и я против революции». Пришлось засесть с ним за «Коммунистический манифест». Просто стыдно, что шафер на свадьбе у двух политических ссыльных был так политически невежествен.

Ссылку в Уфу ей заменили на ссылку в Шушенское — к жениху. Всемиловейшее полицейское снисхождение, скорее, надежда — женятся, образумятся. Но с другой стороны, ей было поставлено условие: заключить брак с ссыльным Ульяновым немедленно, иначе пребывание в Шушенском будет запрещено.

А кто же самый подходящий шафер! Молодой бунтовщик Оскар Энгберг. Ему 24 года, жениху — 28, невеста на год старше. К сожалению, тесинцы — они жили в селе Тесинском, на другой протоке Енисея, — Кржижановский с матерью и Старков не смогли приехать. Просил Ильич исправника пустить друзей к нему на свадьбу — отказал категорически. Зато как торжественно вышагивал Оскар во время свадьбы, держал венец, как и положено шаферу, над головой невесты. И по всем правилам православной церкви даже аналой трижды обошли. Ничего не поделаешь: правительство иного брака, кроме церковного, для своих подданных не принимало во внимание. Но вот наступило время прощаться — срок ссылки Ильича закончился, а ей еще предстоял год в Уфе. Пришел Оскар, сел на краешек стула, волновался, принес подарок — самодельную брошку в виде книги с надписью «Карл Маркс». Сделал из крышки старинных серебряных часов.

Наконец и застава. Для большинства пассажиров «кукушки» процедура привычная — так каждый день,

утром на работу, вечером домой. Она тоже, как все, не озирается по сторонам, ничего не разглядывает: чего там, не в первый раз! Рядом Емельянов, широкий, надежный, с усталым, кажется, даже чуть сонным лицом.

Она-то догадывается, чего стоит ему это спокойствие.

А что он, наверное, пережил, пока Ильич был у него? Как прислушивался к каждому стуку в калитку, к каждому шагу прохожего, к голосам дачников, к плеску волн на озере. Прислушивался, приглядывался, был готов ко всему и всегда был ровен, спокойно-нелюбопытен.

Хорошо, что со стороны нельзя услышать, как бьется сердце. Но все время приходится себя контролировать: не идти быстро — не по возрасту, — следить, чтобы не дрожали руки, унять проступающее волнение в глазах.

Для офицера, проверяющего документы, — работа привычная, надоевшая. Каждый день одно и то же: рабочие, старики и старухи, подростки и молодайки. Все на одну физиономию. Серые, стершиеся от нужды лица, прелый, кисловатый запах повседневной одежды. Нудная, надоевшая, без происшествий служба. Но на то и служба, чтобы служить. Порядок заведен и до тонкостей известен: документ! Взгляд на фотокарточку, взгляд в лицо. Следующий. Взгляд на карточку, на печать. Все верно, все одинаково, все привычно. Следующий.

Хорошо, хоть здесь, в тылу, а не во вшивом окопе, под шрапнелью гансов. Но ведь есть же счастливы, которые устроились не в глухом медвежьем углу среди финнов, из которых и слова не вытянешь, не среди галицийских окопов, а в Северной Пальмире, в столице, и еще получают кресты и награды, идут через чин, обгоняя сверстников. Эх, жизнь, жизнь! По Невскому, будто и нет войны, летят сейчас автомобили и лихачи на пневматических шинах, рыдают чувствительными романсами в ресторане Чванова на Петроградской скрипки, пахнет дорогой едой, изысканными женщинами, гаванскими табаками. Следующий.

Замусоленные от ежедневного пользования документы, пальцы с въевшейся в них металлической пылью, окаленной, землею. Вот когда попадают такие новенькие, чистенькие документы, он может определить, так сказать, не глядя на носителя, по опыту — значит, либо паренек, либо девушка, только что принятые на работу на завод, либо старуха: поперлась смотреть нового внука, или кого-нибудь крестить, или хоронить, или на свадьбу. Он знает. Он в своем деле дока. Он в своем сыском деле разбирается до последней тонкости, до конца. Он не какой-нибудь штабной фертик с Невского, который проигрывает войну. Он служит. Добросовестно и скрупулезно.

Взгляд на фотокарточку — платок, припухшие невыразительные щеки, подслеповатый взгляд. Потом на лицо. Бледное от постоянной усталости, близорукий утомленный взгляд. Подмывало поинтересоваться: на похороны, на крестины? А зачем? Ответ известен. Он знает за собой слабость: он — ф и з и о н о м и с т! Все и без вопросов сойдется. Наверняка. Следующий.

Следующий был Емельянов. У него тоже все «сошлось». Шли через лес, по песчаной дороге. Емельянов хорошо ориентировался в этой местности. Лес уже был осенний, сумеречный, с шорохами, с внезапным, от повалившегося где-то дерева, треском сучьев, почти без птиц.

Километров через пять вышли на станцию Олилла. Емельянов взял ей билет, как и положено работнице с завода, в третий класс. Но решили, что ехать ей безопаснее в солдатском поезде, среди солдатушек особенно не порыскаешь с проверкой документов. Этот взрывчатый народ к тыловой крысе, да еще шныряющей по вагонам со всевозможными проверками относился плохо.

Простилась сердечно с Емельяновым; поехала.

Бродить по городу в поисках адресата — это ей было знакомо.

...Вот так же она летела к Ильичу в Прагу, после окончания ее ссылки. Оттуда шли письма и книги, она

хорошо помнила адрес и сама, не списавшись, покатила за границу. По-пешехонски ехала, с багажом, корзинами. В полной уверенности, что Ильич живет там под фамилией Модрачек. В Праге — никто не встречал, хотя она и дала телеграмму. С большим смущением наняла извозчика в цилиндре, нагрузила на него свои корзины.

Рабочий квартал, узкий переулочек, громадный дом, из окон торчат проветривающиеся перины.

Дверь на четвертом этаже открывает женщина. «Модрачек, герр Модрачек». Выходит мужчина. «Я — Модрачек». — «Нет, это мой муж». Наконец недоразумение разъяснилось. «Ах, вы, вероятно, жена герра Ритмейера, он живет в Мюнхене, но пересылал вам через меня книги и письма».

И нашла в Мюнхене. Правда, и тут не обошлось без казуса. Отыскала дом, квартира № 1 оказалась пивной. У толстенького немца за стойкой спросила герра Ритмейера, тот отвечает: «Это — я». — «Нет, это мой муж». Выручила жена Ритмейера, догадалась: «Ах, это, верно, жена герра Мейера, он ждет жену из Сибири. Я провожу».

Потом выяснилось, что человек, на имя которого была послана книжка с «химически» написанным настоящим адресом, зачитал книжку. А Ильич, оказывается, по три раза на день ходил ее встречать...

На этот раз она сама виновата. При проявке «химии», которую прислал Ильич, обгорел краешек плана. Он мастерски умел это рисовать — все было помечено, даже в какую дверь звонить.

Ну вот и чистенький, без петроградской сутолоки Гельсингфорсский вокзал. Теперь, ни у кого не спрашивая — старуха Атаманова! — ни по-английски, ни по-французски, ни по-немецки, отыскать сначала рабочий квартал Тэле — ну, его-то она по запаху, по интуиции найдет! — а потом и Тэленкату, 46.

Какие длинные в Гельсингфорсе улицы! А может быть, дает себя знать бессонная ночь? Наконец и нужный адрес. Надо еще подняться на четвертый этаж. Какие высокие ступени. Вот и звонок.

Господин Модрачек? Господин Ритмейер? Господин Мейер? Господин Константин Петрович Иванов?..

Константин Петрович

Как своевременно Вийк передал ему через Артура Блумквиста нужную книгу!

Он хорошо помнил эту цитату еще по женевскому чтению, ну почему он тогда же не перенес ее в свою тетрадь? Тогда, в его женевском далеке, под сводами библиотек цитата эта, наверное, казалась еще очень отдаленно относящейся к делу. Но дело так продвинулось, что марксова формулировка стала руководством к непосредственному, сегодняшнему дню.

Маркс, этот удивительный человек, не грешил академизмом. Его выводы точны, потому что держатся на фактической базе исторического опыта.

Теперь цитата на месте, вписана на соответствующую страницу, и можно сказать, что синяя тетрадь почти полна.

Какие у Маркса удивительные и точные слова! «Восстание есть искусство, точно так же, как и война, как и другие виды искусства. Оно подчинено известным правилам, забвение которых ведет к гибели партии, оказавшейся виновной в их несоблюдении. Эти правила, будучи логическим следствием из сущности партий, из сущности тех условий, с которыми в подобном случае приходится иметь дело, так ясны и просты, что короткий опыт 1848 года достаточно ознакомил с ними немцев. Во-первых, никогда не следует играть с восстанием, если нет решимости идти до конца (буквально: считаться со всеми последствиями

этой игры). Восстание есть уравнение с величинами в высшей степени неопределенными, ценность которых может изменяться каждый день. Боевые силы, против которых приходится действовать, имеют всецело на своей стороне преимущество организации, дисциплины и традиционного авторитета; если восставшие не могут собрать больших сил против своего противника, то их разобьют и уничтожат» *.

И все же в этом рассуждении, таком блестящем и верном, ему чего-то недоставало... Какой-то отчаянный правоты сегодняшнего дня, его собственных нажитых и конкретных наблюдений.

Как оглушительно быстро проворачиваются события! Еще две недели назад вот в этой лежащей на столе рукописи его новой книги он с горечью констатировал:

«Возьмите то, что произошло в России за полгода после 27 февраля 1917 г.: чиновничьи места, которые раньше давались предпочтительно черносотенцам, стали предметом добычи кадетов, меньшевиков и эсеров. Ни о каких серьезных реформах, в сущности, не думали, стараясь оттягивать их «до Учредительного собрания» — а Учредительное собрание оттягивать помаленьку до конца войны! С дележом же добычи, с занятием местечек министров, товарищей министра, генерал-губернаторов и прочее и прочее не медлили и никакого Учредительного собрания не ждали! Игра в комбинации насчет состава правительства была, в сущности, лишь выражением этого раздела и передела «добычи», идущего и вверх и вниз, во всей стране, во всем центральном и местном управлении. Итог, объективный итог за полгода 27 февраля — 27 августа 1917 г. несомненен: реформы отложены, раздел

* Ленин тогда не знал — это выяснилось после опубликования переписки Маркса и Энгельса, — что, хотя эта статья была в свое время напечатана за подписью Маркса, ее автором был Энгельс. Статью Энгельса о восстании Маркс читал и одобрил.

чиновничьих местечек состоялся, и «ошибки» раздела исправлены несколькими переделами».

Эти две недели — с 27 августа по 13 сентября — тоже целая эпоха.

Корниловский мятеж удивительно революционизировал массы. Прочитав питерские газеты от 27-го, как он сетовал, что так далеко от столицы! В среду, 30-го, написал письмо в Центральный Комитет. Новые события, нужна новая тактика. Но целых три дня должно было пройти, пока члены ЦК получили бы его письмо!

Мятеж Корнилова — крайне неожиданный и прямо-таки невероятно крутой поворот событий. Поймут ли товарищи, что, не отказываясь от задачи свержения Керенского, в этот момент надо подойти иначе к задачам борьбы с ним: разъяснять народу слабость и шатания Керенского. Это делалось и раньше. Но теперь это должно стать г л а в н ы м: в этом видоизменение.

Вместе с войсками Керенского надо воевать с Корниловым, но не поддерживать правительство, а разоблачать его слабость. Рабочих, крестьян, солдат, увлеченных ходом борьбы с Корниловым, надо увлекать дальше, настаивать, чтобы они требовали тотчас передачи земли крестьянам, наводить их на мысль о необходимости ареста Родзянки и Милюкова, разгона Государственной думы, закрытия «Речи» и других буржуазных газет.

Но три долгих дня, пока его письмо идет от Гельсингфорса в Петроград!

Как же он был рад, когда, прочитав через несколько дней петроградский большевистский «Рабочий», увидел почти полное сходство в оценке положения и выводах о тактике партии.

Его радовало и то, что во всенародном движении против контрреволюции возник и тот п о д ъ е м, который он предсказывал. Но случилось и еще кое-что. Для борьбы с Корниловым меньшевики и эсеры вынуждены были дать согласие вооружить рабочих.

Вот они, итоги последних дней...

Он как раз работал, сидел за столом — и вдруг звонок в дверь и из передней ее голос. Добралась. Как же он обрадовался! Встретились. Впервые после прощанья на квартире Аллилуева. Рассказала обо всем, что знала сама.

Надежда пожила только два дня. Волновалась за него, не хотела, чтобы он ее провожал. Да как же так? И все же настоял, проводил, до последнего поворота перед вокзалом!..

Газеты приносят пестрые вести. ЦИК Советов заговорил о необходимости союза, коалиции, если не с кадетской партией, которая была соучастницей мятежа, то с другими представителями буржуазии и крупного капитала, с «цензовыми элементами». Но время все же крутит свои маховики и работает на большевиков. Еще выборы в Петроградскую думу, 20 августа, до корниловского мятежа чрезвычайно усилили большевиков по сравнению с выборами в районные думы в мае. Тридцать три процента поданных голосов по сравнению с двадцатью процентами майских результатов. А уже в ночь с 31 августа на 1 сентября в Петроградском Совете впервые прошла политическая резолюция, предложенная большевиками.

Ни у одной партии в отдельности в президиуме не оказалось столько представителей, сколько у большевиков. Через неделю большевики завоевали Московский Совет. Председателем вместо меньшевика Хинчука стал Ногин. Теперь пойдет большевизация Советов по всей стране. Лозунг «Вся власть Советам!» приобретает новое значение. Значит, за большевиками — массы. Собирается сила.

Два с небольшим месяца прошло с июльских дней. А ведь в то время Питер был моментами в наших руках. Не правильно ли было бы взять власть тогда?

Нет, нет и тысячу раз нет.

Не было за большевиками класса, являющегося авангардом революции. Не было большинства среди рабочих и солдат столицы.

Не было всенародного революционного подъема.

Не было колебаний среди врагов наших и мелкой буржуазии.

Не удержали бы мы власти. Не было среди рабочих и солдат такого «озверения», такой кипучей ненависти и к Керенскому, и к Церетели — Черновым.

Теперь положение другое!

Он произнес эту фразу почти вслух, шепотом. Он привык так выговаривать статью, которую готовится написать.

Тихо в квартире, Эмилия, наверное, уже приготовила обед и сейчас вяжет или штопает носки. В комнате потемнело, сосновая ветка под окном стала почти черной.

Правила восстания, так убедительно изложенные Марксом, есть «логическое следствие из сущности партии, из условий, с которыми приходится иметь дело». Вот, пожалуй, здесь можно дополнить. Ведь за плечами есть уже и опыт революции 1905 года. Есть острейшая политическая ситуация 1917 года, сентября.

В квартире Блумквистов уже давно тишина. Из-под двери у гостя тянется слабая полосочка света. Эмилия из коридора прислушивается и удовлетворенно замечает: не ходит, значит, пишет.

Письмо Центральному Комитету он назовет «Марксизм и восстание».

«...Маркс самым определенным, точным и непререкаемым образом высказался на этот счет, назвав восстание именно *искусством*, сказав, что к восстанию надо относиться, как к искусству, что надо *завоевать* первый успех и от успеха идти к успеху, не прекращая *наступления* на врага, пользуясь его растерянностью и т. д., и т. д.

Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-

первых. Восстание должно опираться на *революционный подъем народа*. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой *переломный пункт* в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее *колебания* в рядах врагов и *в рядах слабых половинчатых нерешительных друзей революции*. Это в-третьих».

Надежда Константиновна Крупская

«Второй раз была я у Ильича недели через две. Как-то запоздала и решила не заезжать к Емельяновым, а пойти до Олилла самой. В лесу стало темнеть — глубокая осень уже надвигалась, взошла луна. Ноги стали тонуть в песке. Показалось мне, что сбилась я с дороги; я заторопилась. Пришла в Олилла, а поезда нет, пришел лишь через полчаса. Вагон был битком набит солдатами и матросами. Было так тесно, что всю дорогу пришлось стоять. Солдаты открыто говорили о восстании. Говорили только о политике. Вагон представлял собой сплошной крайне возбужденный митинг. Никто из посторонних в вагон не заходил. Зашел вначале какой-то штатский, да, послушав солдата, который рассказывал, как они в Выборге бросали в воду офицеров, на первой же станции смылся. На меня никто не обращал внимания. Когда я рассказала Ильичу об этих разговорах солдат, лицо его стало задумчивым, и потом уже, о чем бы он ни говорил, эта задумчивость не сходила у него с лица. Видно было, что говорит он об одном, а думает о другом, о восстании, о том, как лучше его подготовить».

Густав Ровио

Жизнь определенно ему, Густаву Ровио, не дает соскучиться. Чем он только в жизни ни занимался, просто ходячая энциклопедия ремесел! Но кто же мог предположить, что придется ему узнать и тайны искусства пастижера.

Нет, не какой-то там брадобрей, чародей щипцов и ножниц, завивок и куафюр, не скромный парикмахер, бери выше — мастер-пастижер!

Сентябрь в Гельсингфорсе выдался дождливый. По утрам наплывали туманы с залива такие густые, что не было видно даже креста на куполе собора. Чайки над гаванью стали кричать раздражающе сварливо; мокрые, укутанные рогожками и клеенками торговки рыбой подняли цены. В городе было дымно, потому что дымы из печей не поднимались вверх, а прибивались к земле густым, пропитанным влагой воздухом. Отвратительная погода.

Может быть, поэтому у «государственного преступника», который находился на его, Ровио, попечении, испортилось настроение? Даже не испортилось, а все чаще он стал говорить о Петрограде. Впрочем, он, Ровио, понимал: не погода, не тоска по близким, здесь другое: по мере обострения классовой борьбы в России и усиления влияния большевиков жизнь в Гельсингфорсе становилась для Ленина невыносимой.

Быть ближе к водовороту событий, ближе к Петрограду.

А он, Ровио, уже так привык к своим новым обязанностям. Привык ходить за газетами, организовывать встречи с финскими товарищами, проводить вечера у Блумквистов. Жаль, он, Ровио, не ведет дневника. Такие были интересные разговоры с Маннером, с Куусиненом, с председателем областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии. Рядом с этим полюбившимся ему

Константином Петровичем Ивановым и он, Густав, многое узнавал. Ленин расспрашивал о настроении моряков гарнизона в Выборге, о русской газете в Гельсингфорсе, о делах в типографии. А с Маннером — все же он, Ровио, был и штатным агитатором, ему все интересно — разговорились об антимилитаризме. Ленин заметил, что антимилитаризм является большим вопросом рабочего движения малых стран. И это понятно, потому что ярмо вооружения особенно тяжело для малых государств. Удивительный человек, всегда видел главное. А дальше повернул мысль так, что с точки зрения классовой борьбы антимилитаризм вреден, рабочим нужно идти в армию, пройти курс обучения, завоевать армию, ведь без армии революцию невозможно совершить. Какой емкий, точный и такой понятный поворот мысли.

Иногда приезжал его, Ровио, «крестный» по партии, дорогой друг Сантери, Шотман. Вот это конспиратор! Бывший рабочий, токарь, человек, знавший ссылки и Нарымский край. С ухоженной бородкой, в модном костюме и пальто, с золотыми очками. Солидный делец, врач, учитель гимназии. Всегда в кармане пальто только что купленный на перроне вечерний выпуск «Хельсинки саномат». Только на руки не надо смотреть, въевшийся с юности металл не исчезает с мозолей. Приехал с письмами и бумагами после корниловского мятежа и говорит ему, Ровио: «Ты знаешь, что через четыре месяца товарищ Ленин станет премьер-министром?» — и стал доказывать свою правоту, убеждать. Пришлось обратиться к третейскому судье. «Владимир Ильич,— говорит Сантери,— через четыре месяца вы можете формировать кабинет, вы станете премьером». А Ленин сразу принялся расспрашивать его о делах.

Грустно прощаться, но ведь не навсегда. Выше нос, Ровио, а пока выполняй-ка порученное дело. Отправляя нелегальные письма, бегал из ссылки, занимался бродягами и нищими, агитировал за большевиков, боролся за

независимость Финляндии, а теперь доставай парик, краску для бровей, паспорт, устраивай квартиру в Выборге.

Сказано — сделано. В конце концов, на то мы и полиция, чтобы все знать, что делается в славном городе Гельсингфорсе. На Владимирской улице проживает бывший театральный парикмахер, изготавливающий парики. Вот и пришлось узнать, насколько это сложная вещь!

А сам-то парикмахер, какая тонкая, оказывается, штука. «Нет, нет, парик не селедка, чтобы покупать на вес! Заказчик должен явиться лично». А потом, парикмахер — это лишь одна из его профессий, он — мастер-пастижер. Волшебник, изготавливающий усы, бакенбарды, парики, бороды. Искусство древнее, известное еще с времен Египта и Вавилона. «Только лично!»

Лично пришлось по переулку «пробиваться» на Владимирскую рано утром.

Любой деятель искусства всегда звезда первой величины в собственных глазах. Ах уж парикмахерское искусство — пардон, искусство мастера-пастижера — искусство, которое просто облагодетельствовало просвещенное человечество! И как, оказывается, правильно поступили господа заказчики, что обратились именно сюда, на Владимирскую улицу! Здесь единственный столичный специалист, единственный специалист в Гельсингфорсе, который работал в Мариинском театре.

О, конечно, там украшались не только головки знаменитых балерин. В мастерскую, где благодетельствовали человечество, заходили генералы, князья, графы. Это великое искусство — делать прической и накладными волосами человека моложе. Между прочим, в свое время и здесь, в Гельсингфорсе, некоторые специалисты омолодили даже жену генерал-губернатора Шейна. Здесь главное — природный вкус, чувство меры и качество материала. Он, мастер-пастижер, уже не говорит о руках. Единственные, неповторимые по сноровке и таланту руки на всем Ботническом заливе — вот они!

Сначала берется основа, м о н т ю р, натягивается на специальное приспособление, которое называется — пардон, господа,— называется болван, потом нежными движениями особым крючком, по прядке, по волосику...

Что-нибудь из готовых? Из этих? Ну зачем же, парик должен молодить! Клиент хочет выглядеть шестидесятилетним! Это невозможно. Это противоречит общепринятым правилам.

Семидесятилетние князья выходили из его рук с лицами и прическами корнетов. Вы ведь совсем молодой. Вам едва дашь сорок, зачем вам парик старика? Умоляю, не берите себе преждевременной старости.

Увы, увы, желание уважаемого клиента — закон для мастера. Сердце мастера кровоточит. И вот с этим кровоточащим сердцем он сейчас же сядет за работу, произведет необходимые доделки, «посадит парик» — и завтра утром в Гельсингфорсе на одного старика станет больше.

...Как ему, Ровио, не хочется прощаться.

Ровио подбадривает себя воспоминаниями о словах Шотмана: «Через четыре месяца...» А сейчас-то впереди путь, полный опасной неизвестности, риска. Как доедет? Что ожидает впереди? Удастся ли еще свидеться?

Все у вас, Ровио и Вийк, удастся! 31 декабря 1917 года дорогая Финляндия обретет свою независимость. И на этом документе будет стоять знакомая вам обоим подпись: В. И. Ульянов (Ленин).

До 1938 года Г. С. Ровио будет работать секретарем Карельского обкома ВКП(б). В 1918 году В. И. Ленин в записке на бланке Председателя Совета Народных Комиссаров отзовется о бывшем полицмейстере Гельсингфорса как о «финском коммунисте и старом партийном работнике».

Всю жизнь Ровио будет хранить швейцарские часы на 15 камнях марки «Зенит». По ним он сверял время, когда его жизнь соприкоснулась с ленинской жизнью.

Сбылись пожелания и старого финского актера Куусе-лы. В своих воспоминаниях, датированных 15 марта 1918 года, он напишет (и тут нам придется вернуться к самому началу нашего рассказа, в Лахти, в дом фотографа Коски) с чувством законной гордости и удовлетворения от своей прозорливости:

«Мы съели очень вкусный вегетарианский завтрак, которым нас накормила госпожа Коски. После этого обнялись и попрощались.

— Ожидая увидеть вас в будущем премьер-министром,— сказал я Ленину на прощанье.

И ведь стал же премьером! Помню, как в один из октябрьских вечеров кто-то позвонил мне в Уутеенкюля и сказал всего несколько слов:

— Ваш друг теперь премьер-министр».

Вот как сложилась судьба Вийка. В 1919 году за участие в рабочей революции был осужден, но вскоре выпущен из тюрьмы. В 1941 году среди шести депутатов-социалистов парламента голосовал против участия Финляндии в войне; был лишен парламентской неприкосновенности и арестован. Рассеянный человек всю жизнь был последовательным в своих взглядах.

Вийка освободили только в 1944 году, когда Финляндия вышла из войны, но здоровье его было уже подорвано. Был первым председателем Демократического Союза народа Финляндии. Накануне второй мировой войны Карл Вийк расшифровал свои дневники и сдал на хранение в архивы Финляндии и Швеции.

Люди одной цели удивительно умеют доделывать все до конца.

Несмотря ни на что.



Один день в октябре



Чтение произведений В. И. Ленина не по необходимости, а для себя чревато ослепительными человеческими открытиями. Что стоит только такое его признание! Разоблачая клевету Временного правительства на большевиков, обвиняемых в подготовке вооруженного восстания, Ленин — речь идет о событиях 3—5 июля, когда еще не был снят искреннейший и чрезвычайно обоснованный лозунг «Вся власть Советам!», т. е. осуществлялся курс на мирное развитие революции, о чем Владимир Ильич неоднократно говорил и писал, пользовался каждым предоставляемым историей моментом, чтобы пустить революцию по мирному руслу,— и вот, разоблачая клевету, сам оклеветанный, он бросает редкого мужества для человека и юриста признание: «За все решительно шаги и меры как Центрального Комитета нашей партии, так и вообще нашей партии в целом я беру на себя полную и безусловную ответственность».

Удивительная когорта людей того времени!.. Каждый из них ежечасно рисковал своей жизнью и жизнью близких. Но боролись они не ради себя. Это уже потом, задним числом, история поставила их на пьедесталы, к которым потомки приносят цветы... Каждая из этих судеб — и они это понимали! — могла быть сломана, как стебель, в самом начале роста, и тогда ни жизни, ни посмертной славы...

Вот что я хотел сказать читателю, предваряя повесть, действие которой разворачивается в один день — 24 октября 1917 года. Этот день, как большинство дней после возвращения из Финляндии, В. И. Ленин провел на квартире большевички Маргариты Васильевны Фофановой.

«...Надо, чтобы все районы, все полки, все силы мобилизовались тотчас и послали немедленно делегации в Военно-революционный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя: ни в коем случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом; решать дело сегодня непременно вечером или ночью.

История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя потерять много завтра, рискуя потерять все.

Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них.

Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия.

Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой...»

В. И. Ленин. Из «Письма членам ЦК». Написано 24 октября 1917 года в Петрограде, вечером, на квартире М. В. Фофановой; меньше чем через сутки в Актовом зале Смольного на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов В. И. Ленин скажет с трибуны: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась».

Маргарита

Маргарита проснулась, как всегда, в семь. Сразу же, не дожидаясь звонка будильника, протянула руку и укрепила рычажок — нечего напрасно трезвонить. От постоянного недосыпания свежести в голове не было, но не болит, и то слава богу, а на мелкие недомогания она давно уже внимания не обращала: день большой, расходуется, распрыгается.

По укоренившейся привычке не давать себе ни в чем поблажки Маргарита сразу же откинула одеяло — старенькая кушетка, которую она обычно уступала запозднившимся гостям, предательски скрипнула. Прислушалась: в квартире тихо, за окном моросит дождь, ветер особенно не свищет, но темновато, тучки скребут низко — значит, обычная петроградская погода, серенькая, — прошел трамвай, лязгнув вагонной сцепкой... Хватит вылеживаться.

Под краном в кухне Маргарита сполоснула лицо холодной водой, обтерла шею и грудь — пренебрегать здоровьем не следует, она в семье кормилица, а что ждет впереди ее и двух ее детей, совершенно неизвестно, — а потом уже влезла в длинное, с еще волглым со вчерашнего дня подолом, платье. И тут же подумала: что-то сегодня она собралась слишком резво. Стоп, Маргарита, уймись. Спешка к добру не приведет. Еще раз все обдумай и проверь. Деньги, документы, сумка... Хлеб дома еще есть, яйца остались, в ледничке на кухне кусок по-

завчерашней колбасы, значит, основное — изобрести первое к обеду, с завтраком она справится. Теперь все лишние мысли из головы долой. Выйти из квартиры тоже искусство.

Маргарита подошла к двери, прислушалась. Самое время, когда ее соседи уходят на работу! А зачем, спрашивается, ей, интеллигентной женщине, ни свет ни заря бежать из дому? Она и так за последнее время несколько раз по утрам натыкалась то на младшего дворника, то на соседей по подъезду. Спокойнее, Маргарита. Собраннее. Все тихо. Она осторожно потянула на себя цепочку, аккуратно, чтобы не звякнула, опустила, но прежде чем повернуть ключ, отступила на шаг, взглянула вдоль коридора. Последняя, третья дверь плотно закрыта и наверняка заперта — ее жилец человек педантичный, мелочей для него не существует, но все же... Маргарита скинула башмаки, на цыпочках прошла по коридору и чуть потянула дверь на себя. Все в порядке. Ее жилец — надежный человек. Снова вернулась к входной двери, снова прислушалась и ловко, привычно, с силой нажимая на ключ, чтобы увеличить сопротивление крикливого замка, бесшумно отомкнула его.

В подъезде все было тихо. Маргарита тем же отработанным приемом провернула ключ на два оборота, на всякий случай, отжимая дверь от себя носком башмака, потянула за ручку — проверила: закрыто плотно и надежно. И опять прислушалась. И тут коротенькая смешливая мысль скользнула в сознании: «Интеллигентная женщина, биолог, почти дипломированный агроном, а веду себя, как Нат Пинкертон в юбке!»

Часть петроградских газет Маргарита купила тут же, на Выборгской стороне, на Новосельцевской улице, а за остальными, правда, пришлось прошагать к Новой Деревне. Там у бывшего знаменитого ресторана «Вилла Роде» был хороший киоск, который она давно заприметила и берегла на критический случай, как охотник добычливое

местечко. День определенно складывался сносно. По крайней мере, за газетами не пришлось почти через весь город бежать на Невский. Главное утреннее дело было сделано, а со всем остальным она справится.

Возвращаясь из Новой Деревни на Сердобольскую, Маргарита метнулась было к мясной лавке, но это была скорее эмоция, потому что когда трезво прикинула, соразмерила выставившуюся очередь с другими своими утренними обязанностями, то решила: или во времени не уложится, или мяса ей не достанется, одно из двух, надеяться на удачу было романтической иллюзией. А она, Маргарита, все же представитель точных наук, естествоиспытатель, романтизм ей ни к чему, слава богу, до тридцати четырех лет без него прожила, сегодня с первым блюдом на обед она как-нибудь вывернется. И тут же подумала, что ее «интеллигентные соседи», видимо, набивают цену...

Мадам Сушкова из квартиры 55 так и говорила: «Я, конечно, не стала бы затруднять мужа, но мы с ним, вы и еще управляющий Варгузин — это единственные интеллигенты в нашем доме, в этом море, как нынче принято говорить, пролетарьята!» (Мадам Сушкова это слово произносила, проглатывая, с барственной небрежностью, некоторые гласные.) Только из врожденной интеллигентности, конечно, прапорщик Сушков, мотающийся все время по делам службы из Петрограда в Царское Село, привозил на себе каждый раз по пуду мяса. Вот что значит военный человек: был точен, как петропавловская сигнальная пушка. Если передавал через свою интеллигентную жену, которой все же, несмотря на личную терпимость и тяготы военного времени, она, Маргарита, порекомендовала бы обедать через день, — если передавал зайти в квартиру 55 «завтра вечером», то уже совершенно точно мясная порция — 7—8 фунтов роскошной говядины — Маргариту ожидала. Передавая мясо, мадам Сушкова не могла скрыть горячего, терзающего ее любопыт-

ства и разнообразными хитроумными околичностями выпытывала, зачем это Маргарита, одинокая женщина, так много сразу берет, ведь ее доблестный Сушков регулярен в исполнении функций домашнего интенданта? Конечно, мадам Сушкова, как актеры знаменитого Художественного театра в Москве, как любимая Маргаритой Вера Комиссаржевская, объяснялась почти одними подтекстами. Но Маргарита, чтобы пресечь опасную любознательность соседки, говорила: «Я заказываю мясо для себя и для тетки мужа». Глазенки у мадам Сушковой сразу разгорались, но Маргарита тоном отчужденным, строгим, не допускающим никакой, даже самой малой доверительности и новых вопросов, отрезала: «Несмотря на то что с мужем я в настоящее время в разводе, с его теткой я в самых дружеских отношениях». Бедная мадам Сушкова, сколько нереализованных вопросов! Но мадам, правда, брала реванш на заключительном этапе сделки, в вопросе о цене. «Рубль двадцать за фунтик». Умело спекулировал прапорщик Сушков и разворотливо вела себя с покупателями его благоверная. «Но мясо ведь очень хорошее!» — вызывающе вскидывалась Сушкова. «Хорошее», — соглашалась Маргарита, и ее карие глаза светились закрытой и ровной безмятежностью.

И все же Маргарита была благодарна своим энергичным соседям. Мясной запас давал ей возможность маневрировать, возможность почти неделю не бегать по магазинам, надо было добывать только хлеб и сахар, если удавалось его найти, а овощи были припасены — внизу, в подвале дома, в дровнике. Когда Маргарита возвращалась от Сушковых из соседнего подъезда, настроение у нее всегда было хорошее, она даже напевала про себя. Вот и в последний раз, уже больше недели назад, так развеселилась, что начала на кухне разговаривать сама с собой:

— Мясо, конечно, очень хорошее, но и дорого — по рублю двадцать копеечек за фунт...

И не обратила внимания, что жилец наблюдает ее эйфорию из дверей кухни.

— Ну, и как вы его достали, Маргарита Васильевна? Пришлось исповедаться.

— А сливочное масло к завтраку где вы добываете?

— С маслом легче, чем с мясом. В очереди постоишь — и можно купить. Я как-то раз, — тут она излишне поткровенничала, — попала на Надеждинскую улицу, знаете, наверно, Константин Петрович? — Маргарита уже давно вытравила из памяти настоящее имя своего жильца и так называла его даже про себя, в мыслях. — Это первая улица от Финляндского вокзала. Дают в лавке сливочное масло, народу не слишком много. И вдруг замешательство. Одна женщина стала пробиваться вперед: «Я с ребенком, я с ребенком!» А женщины, стоящие в очереди перед ней, кричат: «Какой у тебя ребенок, ты, наверно, чужого взяла! Врет она, нет у нее ребенка!» Здесь, как водится, скандал. Так что вы думаете? Оказалось, никакого ребенка и не было. В одеяло было завернуто полено!

— Но ведь это же остроумно! — заулыбался жилец, стягивая к глазам морщинки.

— Но это еще не все. — Определенно, когда в доме были продовольственные запасы, Маргарита веселела. — Тут возникла драка, и я, воспользовавшись всеобщей кутерьмой, без очереди купила фунт масла.

Видимо, жилец очень живо представил себе, как его хозяйка — строгая, редко улыбающаяся большевичка Фофанова, вполне самостоятельный и серьезный человек, даже депутат Петроградского Совета, — как эта строгая Фофанова, всегда подтянутая, опрятная, всегда в шляпке и отутюженной юбке, незаметно протискивается во время крикливой женской драки к вожделенному маслу, и, представив себе эту картину во всех ее живописных подробностях, жилец собрался вдоволь, залиvisto и от души посмеяться... И тут Маргарите ничего не осталось делать, как показать жильцу на входную дверь, за которой лест-

ница и соседи. И жилец, сразу поняв ее жест, развернулся и покорно пошел в отступление, в свою комнату, третья дверь налево по коридору, не считая двери в кухню...

Во двор она вошла не со стороны Сердобольской, а — прошмыгнув вдоль забора, мимо двух зимних деревянных дач, — с Большого Сампсониевского, где почти на углу была калитка и сторожка дворника. Дачи, вымытые ночным дождем, поблескивали чистыми окнами; уютно над крышами вился дымок — уже затопили. Надо и ей, Маргарите, поторапливаться. Но куда здесь денешься, если навстречу Семен, старший дворник. Тут нужна не просто почтительная вежливость, надо держать ухо востро.

— Доброе утро, Маргарита Васильевна. Вы уже на ногах! Для здоровья гуляете, для моциона или так?

— Доброе утро, Семен. Хотела в лавку зайти, но там толпа. Харчами буду запастись теперь уже в городе, — самым дружеским тоном объяснила Маргарита.

— С харчем сейчас неукладно, — посочувствовал старший дворник. — Ох, неукладно.

— Уложимся. Ну, а что у нас нового? Как наш с вами начальник? — Маргарита указала глазами на одну из дач.

— Выговора сегодня не сделали. Беспокоятся. Сегодня с утра спешно в город отбыли. Какие-то у них там важные дела.

— Барин за калитку, нам с вами легче. Значит, приказов новых и распоряжений не было?

— Какие, Маргарита Васильевна, распоряжения! — сокрушался Семен. — Начальству сейчас не до нас.

— Это верно, Семен, сейчас не до нас, — сказала Маргарита и пошла по тропинке, огибая дом, к своему подъезду. — Начальству определено не до нас.

В свое время она поступила очень правильно, втиснувшись в домовое правление. Мысль была верная, хотя это и лишние хлопоты в ее и так до предела уплотненном дне, но зато самая свежая полицейская информация, сведения.

Какой педантичный человек был их хозяин, немец Кох, а вот просчитался. Очень уж незыблемым казался порядок. Как было ловко и удобно: сам живет в Берлине, а в Петербурге, в Петрограде,— отхожий промысел. Он, инженер-строитель Кох, не гнал никакой липы. Все делал чисто, добротнo, строил на века. Но что же делать, если оставались излишки от его подрядов. Все должно идти в дело, главное — во всем целесообразность и аккуратность. Он, Кох, не какой-нибудь костромской купец, чтобы бросать капитал на ветер. Он человек умеренный. Поэтому и построил один к другому — между делом, между строительством добротных фабрик и добротных особняков — два жилых дома. На окраине, подальше от парадного центра с его ампирами, но поближе к заводам, к людской массе, поближе к жильцам. Безо всяких затей строил. Его жильцы — народ непритязательный. Им некогда притязать, им работать надо, утром вставать, вечером приходить, по субботам в кабак, им надо создавать материальную основу жизни. Но не высчитал пунктуальный немец Кох ни разногласий между капиталистическими державами в эпоху империализма, ни мировой войны, ни даже буржуазной революции. Очень надеялся, когда заводил себе собственность в бывшем Санкт-Петербурге, на родственные связи уважаемого и благословенного императора Вильгельма и уважаемого и благословенного императора Николая. Такая была дружная семья, пока дело не дошло до дележа рынков. Разодрались, как мальчишки. Пришлось нерасчетливому инженеру-строителю бежать из недружественного государства.

Накануне объявления войны Маргарита встретила своего хозяина на лестнице. Как с интеллигентным человеком поделился: «Уезжать надо, а не пускают». И пока Маргарита сочувствовала, подошла полиция, начались какие-то формальности. Но и тут Кох словчил... и полиция отступила перед силой капитала. Дали домовладельцу небольшую отсрочку. Последний раз видела его Маргарита

на станции Ланская всего перевязанного, в бинтах, представляющегося больным и разбитым. Пробирался инкогнито в свою неметчину, но, говорят, не пробрался, а оказался в совсем некомфортабельной Вологодчине в компании с прочими домовладельцами-соотечественниками. Интернировали. И вот жильцы есть, а хозяина нет. Управляющий Варгузин с помощью старшего дворника Семена, правда, аккуратно квартплату взимал, в том числе и с нее, с Маргариты, ее 32 трудовых рубля, но пришло время, как стало модным говорить, конституцироваться... Сначала были одни только прожекты, а уж после февраля жизнь заставила. Но Маргарите все это ни к чему, женщина она не властолюбивая, у нее хватало и других забот, но тут...

Как умела Женя Егорова говорить с людьми! Откуда у этой молодой женщины — ведь почти на десять лет моложе ее, Маргариты, в двадцать пять уже секретарь райкома — откуда такая уверенность, такая сила внушения? Откуда такой авторитет, который беспрекословно принимают и более зрелые люди? Из ссылки? Из Сибири?

В конце августа она, Маргарита, забежала в райком, на Большой Сампсониевский. В большой квадратной комнате, единственной райкомовской — остальные четыре занимала на втором этаже районная управа, — толкались люди, но беседуя с кем-то из товарищей, Женя, «милая душа», как называли ее друзья, тут же выхватила из общей массы Маргариту, уже заканчивающую свои дела, и сказала:

— Рита, мне с тобой надо поговорить, подожди.

Когда все разошлись, куда-то по своим неотложным делам отправилась райкомовская машинистка Токарева, Дядя — Мартын Лацис плотно засел, уткнувшись в бумаги, разложенные на крытом черной клеенкой столе, тут Женя и сказала:

— Рита, райкому потребуется твоя квартира...

После этого разговора и возник дерзкий план.

Бедные жильцы, еще не научившиеся жить без хозяина, организовали домовый комитет. А Маргарита Васильевна Фофанова согласилась на скромную роль секретаря правления: и работы больше, и писанина вся на ней, и почета никакого. А дружба с неграмотным старшим дворником Семеном, который, чтобы и самому быть в курсе, в первую очередь именно секретарю тащил любую бумажку и из новой милиции, и из районной управы, а иногда и слушок какой-нибудь принесет? А домовая книга в руках секретаря, а печать? При том, что твоя квартира используется партией в конспиративных целях, все это нелишнее.

...В хозяйстве у Маргариты имелась хорошая керосинка фирмы «Герц», но пользоваться ею она не любила, привыкла к плите. И тут, вернувшись домой, сразу же развела на кухне огонь, поставила чайник. Плита — вещь надежная, да и осень, квартиру за ночь выстуживает. Затопив плиту, Маргарита опять очень осторожно раскрыла первую из коридора входную дверь — между нею и второй дверью лежали порубленные на удобный, по размеру топok, дрова — «квартирник» — и принялась их носить. Сложила к плите, потом в свою комнату и еще охапочку только внесла в помещение, оставила в коридоре у дверей — это для последней комнаты.

Чайник быстро запаровал, Маргарита нарезала хлеб, заварила чай и осторожно, стараясь не греметь посудой, принялась сносить все припасы в столовую. Пусть спит, пусть хоть немного отоспится! И когда эта простая, почти материнская в своей сущности мысль промелькнула у нее в сознании, какой-то удивительный по силе приступ жалости сдавил сердце.

Она вспомнила его плотную фигуру с большой лысой, крепко посаженной головой, карие глаза, короткий нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, все его лицо, теперь замученное, нездорового от бессонницы и переутомления цвета, и сострадание — тяжело, не передохнуть, — затопило душу. Может быть, это она, Маргари-

та, со своей пунктуальностью довела его до такого состояния? Она виновата в его бессоннице?

События недельной давности, поэтому она хорошо помнит, как в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое до самого утра, до тех пор, пока по улицам не загремели трамваи, она ждала, когда скрипнет дверной замок под его рукою. Он пришел, когда, несмотря на позднюю осень, уже светало, шляпа мокрая от дождя, глаза покрасневшие от бессонной ночи и перевозбуждения. Она сразу засуетилась с завтраком, с чаем. Потом он отправился в свою комнату, скрипнула койка, прилег, но вскоре же — она еще не уходила на работу — услышала: ходит. Верный признак: будет работать, писать.

Запомнила она и шестнадцатое число — ведь накануне почти не ложился, днем лишь чуточку отдохнул, — запомнила, что и в следующую ночь под его дверью шнурком стлался свет от лампы. Просыпаясь, она иногда слышала — а может, ей это казалось? — слышала — ходит. Осторожно, тихо, но ходит.

А семнадцатого она, как всегда, утром сбегала за газетами и была так довольна, что почти все приобрела на Выборгской, что не утерпела и, как пришла, сразу подсунула газеты под последнюю в коридоре дверь. В этом было даже маленькое ее хвастовство: вот посмотрите, дескать, Константин Петрович, какая я ловкая, инициативная и пунктуальная.

Константин Петрович, как обычно, вышел из своей комнаты в десять. Маргарита поражалась, как он, даже если работал ночью, неизменно появлялся к завтраку вовремя, и всегда с благодарностью думала: «Он прекрасно понимает, что у меня есть еще и работа, и не хочет, чтобы я лишней раз нервничала». И в тот день, выйдя из своей комнаты с красными от недосыпания глазами, он поздоровался, прошел в столовую, поблагодарил за газеты, перелистал их, но заметил:

— Маргарита Васильевна, за вами должок.

— Я знаю,— ответила Маргарита, разливая чай.— Не было «Новой жизни», я куплю газету в городе.

Около восьми, когда она уже вернулась с работы, после обеда, когда они оба, как всегда бывает после еды, немножко затормозились, расслабились, Константин Петрович и развернул эту злосчастную газету, которую подала Маргарита.

— Вы только, Маргарита Васильевна, послушайте, что печатают эти недоумки из «Новой жизни»: «По городу пущен в рукописи листок, высказывающийся от имени двух видных большевиков против выступления»! — В голосе, обычно ровном, прозвучало такое удивительное при всегдашней выдержке презрение.— Ано-ни-мы! Листок от членов нашей партии, агитирующих против восстания. Но, к сожалению,— теперь в его голосе слышались усталые и даже какие-то грустные нотки,— я об этом уже знаю и доводов их тоже наслушался. Такое удивительное проявление растерянности, запутанности, искажение всех основных идей большевизма, что трудно найти объяснение столь поразительным колебаниям. Нет, уж пусть теперь анонимы вылезают на свет божий и понесут заслуженное наказание. Да, есть ли предел предательству!

Отодвинув стул, он поднялся, прошел по коридору, и Маргарита услышала, как ключ в его двери повернулся на два оборота. Сейчас будет ходить, подумала она, ничего, пускай ходит, еще только восемь часов, время детское, но в его комнате было тихо, значит, опять работает *.

* «Письмо к товарищам» В. И. Ленин первоначально предназначал только «для беседы с членами партии по переписке». В этом свыше печатного листа труде, написанном за одни сутки, последовательно были разбиты доводы «ничтожнейшего меньшинства» о несвоевременности восстания. Пункт за пунктом. И только после статьи В. Базарова в «Новой жизни» Владимир Ильич передает «Письмо к товарищам» в газету. В 8 часов 30 минут вечера 17 октября он пишет «в «Послесловии» к письму: «...если не принадлежащие к партии и тысячу раз осмеянные ею за презренную бесхарактерность герои из «Новой Жизни»... если

Сначала Маргарита не очень хорошо поняла, о чем идет речь, и только позже, сопоставив отдельные фразы своего беспокойного постояльца, она уяснила, в чем дело.

На следующий день, также после обеда, в столовой она взяла — отставать от жизни было нельзя, и за газетами, несмотря на нехватку времени, приходилось следить, — она взяла в руки ту же газетку «Новая жизнь» и сразу же взглядом профессионального читателя — и покупателя газет — выбрала главное: «Ю. Каменев о «выступлении». Не веря своим глазам, перепроверила: «Новая жизнь», № 156, 18(31) октября 1917 года. «... Каменев от своего и Зиновьева имени заявляет, что они обязаны...»

— Константин Петрович!

Он будто ожидал ее реакции.

— Да, Маргарита Васильевна. — Его лицо в этот момент показалось Маргарите даже злым. — Накануне критического дня двое, как пишет газета, «видных большевиков» в непартийной — в непартийной! — печати, в газете, которая идет об руку с буржуазией против рабочей партии, — в такой газете нападают на неопубликованное — неопубликованное! решение! решение центра партии! Я бы позором для себя считал, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам стал колебаться в осуждении их. Товарищами их больше не считаю. Борюсь за исключение обоих из партии *.

— Да, да... Как же они могли... — говорила Маргарита почти машинально, а ее глаза выхватывали из

подобные субъекты получают *листок* от членов нашей партии, агитирующих против восстания, тогда молчать нельзя. Надо агитировать и за восстание». Публикацией этого ленинского письма 19, 20 и 21 октября в газете «Рабочий путь» партия большевиков начала развернутую агитацию за восстание.

* 18 октября В. И. Ленин пишет «Письмо к членам партии большевиков», в котором настаивает на исключении Зиновьева и Каменева из рядов РСДРП(б).

лежащей перед нею на коленях статьи то одну, то другую фразу, и с каждой из впитанных в сознание фраз она все больше поражалась происшедшему: «Как могли!..» Потому что чувствовала, что не только между этими людьми и ее гостем Константином Петровичем разверзлась трещина, но между этими людьми и ею тоже с каждой прочитанной фразой эта трещина ширится, ширится, превращается в непроходимую пропасть. Ей, рядовому члену партии, конкретно и непосредственно работающей — она варит суп, достает газеты, бегаёт с записками, и все же она р а б о т а е т, потому что между ее жизнью в этот период и этой ее работой нет зазора: она делает все, что только может, — работающей на близкую, как ей казалось и казалось ее друзьям, революцию. Ей, привыкшей держать слово и выполнять взятые обязательства, было непонятно, как это могло произойти, и она пыталась найти ответ в тексте — и не находила. Она не теоретик, не может охватить взглядом всего, но она не первый год занимается революционной деятельностью, она, в конце концов, женщина и способна иногда больше чувствовать, чем знать. Но она не может согласиться с этими чудовищными, предательскими поступками. Ей, привыкшей к партийной дисциплине, к обязанностям, которые каждый из членов ее партии принял на себя добровольно, не имея никаких от этого выгод и преимуществ, кроме «выгоды» попасть в ссылку и потерять здоровье и жизнь, а значит, принял сознательно, согласовав со своею совестью, как нравственный долг, — написанное виделось диким, каким-то nonsensom, грязной изменой.

И от этого смятения и внезапной растерянности она лихорадочно, полупшепотом, пытаясь за гладко сбитыми словами увидеть истинный, реальный смысл, проговаривает отдельные фразы этой ужасной статьи: «...обязаны в данных обстоятельствах, — читает вслух Маргарита, — высказаться против всякой попытки брать на себя инициативу вооруженного восстания... Ставить

все на карту выступления в ближайшие дни — значило бы совершить шаг отчаяния».

Что же это происходит? Маргарита отводит взгляд от газеты — что же это происходит? — и встречается с сухим, колючим от непребродившего гнева взглядом Константина Петровича.

— Шаг предательства пролетариата они уже совершили! Несколько дней назад мы потратили всю ночь, чтобы выработать план и договориться!

Картина сомкнулась.

Значит, в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое, когда она, накинув платок на плечи, до утра простояла у окна, ожидая Константина Петровича, в ту ночь, когда она два раза спускалась по темной лестнице вниз и там, на улице, тоже прислушивалась, не раздадутся ли шаги, не прогремит ли где выстрел! — значит, в ту ночь они решили, руководство партии договорилось о б э т о м. Значит, э т о б л и з к о! Есть дата, и два члена ЦК — газета, не стесняясь, называет их поименно — выдали эту дату Временному правительству. Так получается. Маргарите в этот момент стало зябко, и по какой-то удивительной ассоциации она вспомнила, как впервые попала в тюрьму в Перми. Это был 1903 год. Выдал их один из членов их же кружка. Французы правы — предают только свои. И тут же, взглянув на еще совсем недавно такого, как она считала, выдержанного жильца, подумала: «Ну все, с конспирацией покончено. Разве его теперь удержишь!» А жилец, пометавшись по столовой, выбежал в коридор — и, как маятник, десять шагов в одну сторону, десять в другую. Заметят ли этот беспокойный демарш соседи снизу? «А, черт с ними со всеми, — по-простецки подумала Маргарита, — как-нибудь отговорюсь. Пусть ходит!»

С этого момента у Константина Петровича началась бессонница. Во сколько он заснул сегодня? Она, Маргарита Фофанова, действительно стала немножечко Натом Пинкертоном в юбке: примется наливать керосин в лампу

в его комнате — и все сразу становится ясно. Все, что ей надо узнать. Ведь в Выборгском райкоме после того, как она встретится с Женей Егоровой, ей и еще придется держать ответ... Надежда Константиновна отзовет ее в сторону, куда-нибудь в коридор, к окну, и, приблизив к ее лицу так, чтобы было видно выражение глаз, свое доброе большое лицо с близоруким и мягким взглядом, спросит: «Здоров? Как спал?»

Будильник стрелками, словно неводом, ловит время. За домашними хлопотами, уборкой, готовкой оно незаметно проскользнуло к десяти. На столе все накрыто, стоит масленка с еще «ужуленным» маслом, пузатенький, почти круглый самовар, хлеб, чайные, с кобальтовым ободком чашки. Время к десяти. Маргарита начинает нервничать, прикидывает последние временные резервы и тут слышит, как из глубины квартиры раздаются шаги и знакомый голос говорит:

— Доброе утро, Маргарита Васильевна...

Рахья

Эйно Рахья еще с вечера 23 октября твердо решил, что утром он на завод не пойдет. К этому было много причин. Во-первых, он, Эйно, плоховато себя чувствует. Да и как здесь чувствовать себя хорошо, если все лето и всю осень во имя своей давней конфронтации с буржуазией мотался он в любую погоду по огромному городу и его окрестностям, откуда же здесь брать здоровье? Но это не главная причина.

Во-вторых, Эйно нюхом чувствовал, что и ему его последние проделки даром не сойдут с рук. Капиталисты тоже не полные идиоты, понимают, что творится, принимают свои контрмеры, и тучи сгущаются, ой как сгущаются. Как бы ненароком град и его, Рахьи, буйную головушку не побил, словно виноградник. Признаков этому много разнообразных.

Вот совсем недавно газеты снова сообщили, что министр юстиции господин Малянтович — а с буржуазной «неподкупной» юстицией у Рахьи долги и запутанные счета — предписал прокурору Петроградской судебной палаты «арестовать», «препроводить» и т. д. товарища Ленина. А как это господин прокурор сможет товарища Ленина арестовать, если его сначала надо найти? А о том, где товарищ Ленин скрывается, знают только... Рахья может по пальцам перечесть, кто знает: Надежда Константиновна, Мария Ильинична, Женя Егорова, секретарь Выборгского райкома, «старуха» — так он, Рахья, с первого же дня окрестил хозяйку квартиры на Сердобольской. Так про себя окрестил, и большего ему знать и не надо. При конспирации чем меньше знаешь, тем лучше. Так как же господин прокурор собирается «арестовать» и «препроводить», если с Сердобольской товарищ Ленин еще ни разу один, без Рахьи, не выходил? А что, он, Рахья, слабоумный и на крайний случай не вооружен? Разве в августе юстиция не получала никаких указаний? Ну и что? Помахала юстиция десницей, а Рахья тем не менее благополучно отвез вождя мирового пролетариата в Финляндию. Вот то-то, дорогие высокообразованные служители Фемиды. Несмотря на четыре класса образования, мы еще поиграем с вами в пятнашки. Нет, никакого безрассудства! Осторожненько. Рахья будет расслабляться, восхвалять себя, хвастаться, думать, какой он удачливый, вот смотрите, какой молодец, храбрец... и терять бдительность? Нет! Четырнадцать лет партийного стажа нас чему-нибудь научили. Он ведь понимает, что не летает по воздуху, а ходит и оставляет следы. И, наверное, примелькался для некоторых не в меру любопытствующих господ. Что это за усатый финн курсирует все время с Петроградской стороны на Выборгскую, с Выборгской на Охту? То его в Выборге видят, то в Гельсингфорсе, то на Финляндском вокзале, то на одном митинге, то на другом. А если этого финна немножко потрясти? А если

именно в эти, в последние, решающие дни его, Рахью, на заводе возьмут? Ну, предположим, он сбежит (опыт имеется) или выкрутится (и такой опыт имеется), а как же бесперебойно работающая связь Сердобольская — Выборгский райком — ЦК? А как же охрана вождя, а как же его постоянный курьер! Нет, преимуществ в революционной борьбе он, Рахья, буржуазии предоставить не может. Свою голову не жалко. Курьера жалко, охранника жалко, связного жалко. В эти решающие дни это очень нужные персонажи.

А потому 24-го, думал Рахья еще с вечера 23-го, он на завод не пойдет, посвятит время анализу текущей обстановки и разведке. Самой подробной. Ему ведь обстановку вечером надо будет докладывать. Ну, что поделаешь, если он солдат, солдат партии. Приказ командира — закон для подчиненных. А товарищ Ленин в отношении всего, что касается долга, человек требовательный. Вечером он спросит: «А в таких-то казармах вы, Эйно, были? А в таких-то? А какую на митинге приняли резолюцию? А какое настроение на Охте? А у путиловцев?» Он, Эйно Рахья, фантазировать не умеет, он умеет только рассказывать правду. Он теперь уши и глаза Сердобольской улицы. А что касается собственной безопасности, то он, Рахья, уже больше месяца принимает меры: одну ночь в Певческом переулке, у жены, у Лидии, другую на своей квартире на Кронверкском, третью... Да у него только одних финнов-революционеров чуть не полгорода... А третью, например, в Финском переулке, у старого своего знакомого машиниста Коопонена. Ну как, господа ловкие слуги юстиции, отыщете Рахью? Рахья — здесь, Рахья — там! Хотя тучи, конечно, сгущаются над головой Рахьи, но они сгущаются над ним всю жизнь. Это не самая главная причина, по которой он, Рахья, решил не пойти 24-го на работу.

В-третьих, вчера вечером встретил Рахья своего еще школьного приятеля-финна, работающего писарем в

управлении милиции. Встретились, потолковали. Школьный товарищ спрашивает у Рахьи: «Пригодился ли тебе пропуск для перехода границы в любом месте, который я тебе и Шотману доставал летом?» И Рахья ответил: «Очень даже пригодился. Я ведь женился на Лидии Парвиайнен и все лето ездил знакомиться с тещей и тестем». — «Да?.. — сказал старинный приятель. — Ты рискованный парень. Тогда тебе интересно узнать, что на завтра вроде есть указание от Временного правительства развести мосты. Интересная новость?» — «Интересная, — сказал Рахья. — Очень интересная». А про себя подумал: «Пожалуй, я не пойду завтра на работу».

Нет, он, Эйно, все решил верно. Он привык все делать обдуманно, заранее. И очень хорошо, что с вечера он предупредил Коопонена: «Ты меня завтра не буди». — «А ты что, не идешь на работу?» — «Я завтра устраиваю капитальный ремонт своему организму, отдыхаю». У него, у Эйно, чутье: 24 октября, во вторник, ему надо быть во всеоружии всех своих, еще не растроченных на создание прибавочной стоимости для капиталиста сил. Они ему понадобятся, ой как понадобятся. Ведь недаром... тсс! Об этом Эйно и думать не хочет. Скажем так: он просто кое-что знает, кое о чем догадывается, что же он, даром привез товарища Ленина в Петроград? Это только Шотман считает, что его, Рахью, иногда заносит. Рахья — человек долга. Сказали — сделано. Поэтому он имеет полное право еще полчаса полежать в постели и помечтать...

Нет, в его, Рахьи, жизни тоже есть прекрасные моменты. Как же смешно выглядел Шотман тогда на вокзале, глазки у него за стеклами очков — морг, морг... «Да как же ты, Эйно, смел!» — «Кто смел, тот и съел». — «Ты что, не знаешь, что было решение ЦК?» — «А откуда я мог об этом знать. Я записку получил, и тебя нет, ты куда-то поехал, дело секретное, советоваться не с кем».

Они встретились с Шотманом случайно на Финляндском вокзале.

— Привет, Эйно, ты мне и нужен.
— Здравствуй, Александр Васильевич, я всем нужен.
— Давай собирайся, будем перевозить обратно того, кого мы с тобой перевозили в августе через финскую границу...

Он, Рахья, тогда не знал всей подоплеки. Ленин в сентябре перебирался в Выборг, чтобы быть ближе к Петрограду, и засыпал ЦК записками, настаивая на своем возвращении в город: революция набирает силы, можно упустить момент! В ЦК вопрос о переезде обсуждался очень тщательно. Все высказывались за немедленный приезд Ленина, и только когда Шотман подробно рассказал, какому риску подвергался Владимир Ильич при переезде в августе в Финляндию, с какой тщательностью проверяют документы всех пересекающих границу, особенно из Финляндии, тут ЦК заколебался и постановил до поры до времени задержать Владимира Ильича, поручив Шотману подготовить его приезд с полной гарантией безопасности.

Шотман, осторожный и дисциплинированный человек, махнул сразу в Выборг, а товарищ Ленин тут же ему вопрос: «Правда ли, что ЦК воспретил мне въезд в Петроград?» — «Да, такое решение действительно есть...» И тогда товарищ Ленин говорит: дайте, дескать, письменное, товарищ Шотман, подтверждение. Но бумаги-то такой у Шотмана нет, однако он не растерялся. Садится и своей рукой пишет, что, дескать, настоящим удостоверяю, что в своем заседании ЦК РСДРП(б) постановил: Владимиру Ильичу Ленину впредь до особого распоряжения ЦК въезд в город Петроград воспретить. Извините, конечно, Владимир Ильич, но дисциплина для всех...

Как уж там они в Выборге расстались, он лично, Рахья, не знает, состоялось решение ЦК, а может быть, и не состоялось, Рахья отвечает лишь за свой участок работы, но только на квартире у Лидии, Лююи, в Певческом

переулке появилась Надежда Константиновна. Они еще тогда с Лююи решали очень важный вопрос, стоит ли покупать для Лююи зимнее пальто или купить его в следующем году. И тут входит Надежда Константиновна. И на ней такое довольно старенькое, невидное пальто, букле. Распрекрасная Лююи увидела, значит, союзницу и тут же Надежде Константиновне вопрос: давно ли это пальто та себе покупала? Да нет, отвечает Надежда Константиновна, кажется, лет двадцать назад. Лююи как-то здесь стушевалась, а Надежда Константиновна и говорит: «А вам, товарищ Эйно, Владимир Ильич передает привет... и вот вам записка». Узенькая такая полосочка и обращение, как договорено, как обычно Владимир Ильич писал «Рахья» и после имени не восклицательный знак, а точка.

Подготовить переезд из Выборга в Петроград до станции Удельная? Он что, Рахья, первый раз кого-нибудь перевозит? Перевезет. Квартирой обеспечивает Надежда Константиновна? Ясно. Исполнить немедленно? Он, Рахья, солдат партии.

Немедленно так немедленно.

Нет, определенно в его работе есть и веселые моменты. Жизнь — штука не только драматичная, зачем же все время быть угрюмым? Если бы он, Рахья, постоянно прятался, маскировался, глазами бы из-за поднятого воротника посверкивал, его бы шпики уже давно заметили. А он ходит по городу, как вполне довольный жизнью человек. И тут, на Финляндском, когда Шотман ему говорит: собирайся, дескать, дорогой друг, в Выборг, будем обратно перевозить того, кого мы с тобой в августе везли через финскую границу, — он, Рахья, не растерялся, очень спокойно и весело ответил:

— А зачем в Выборг на поезде? Можно и пешком дойти.

— Как, ты — уже?

— Уже.

Это только со стороны кажется, что он, Рахья, такой спокойненький, что в жилочках у него не кровушка, а холодненькая северная озерная водичка. Нет, и на него тревога иногда так накатывает, так сердце начинает стучать, что, кажется, все слышат и видят, как Рахья нервничает и переживает, это лицо у него от природы просто спокойное, да и он с детства себя приучил разные переживания на лице не показывать. Друзья расстроятся, враги обрадуются, а это ему ни к чему. Он, Рахья, еще больше нервничал, чем в первый раз, когда они Владимира Ильича перевозили в Финляндию. Там и Шотман был рядом, и Лююн, а здесь он один за все отвечал. Но, правда, помощник был старый знакомый — Гуго Ялава.

Когда-нибудь он, Рахья, если доживет до того времени, что можно будет кому-нибудь вслух рассказывать о том, что он делал в молодости, если еще не наткнется на пулю казака или шпика, — он сможет вспомнить, как перевозил товарища Ленина из Финляндии, как пересаживались они с поезда на поезд, шагали по станционным путям, как разыскал он его в Выборге у журналиста Латуки, как сильно волновался за нового «кочегара» у машиниста Гуго Ялавы? Как в самом начале пути от Выборга до станции Райвола еще до встречи с Гуго они решили ехать в тамбуре. Товарища Ленина нарядили в черную суконную рубашку. Так спокойнее, солиднее. Очень импозантный получился «пастор», в очках, седом парике, фетровой шляпе, с белым воротничком, осанистый. Когда в тамбуре появлялись люди, он, Рахья, говорил товарищу Ленину по-фински, тот отвечал, как было условлено, «ја», то есть «да», и «еі», то есть «нет». Иногда говорил «ја», когда надо было сказать «еі», и наоборот. И тут сердце у Рахьи замирало: а если кто-нибудь прислушается к тому, о чем они говорят с «пастором»? Задумается, почему пастор ошибается в финском языке. Вглядится в бритое лицо над белым воротничком... До станции Райвола добрались благополучно.

Приехали в Удельную уже поздним вечером. Дошлый перрон был отмыт прошедшими дождями, мирно, по-военному горели керосиновые фонари. Начинаящаяся осень в тот вечер отступила: тепло, безветренно.

— Ну вот, Константин Петрович,— сказал Рахья,— переезд по Удельной я обеспечил. Теперь ваша очередь вести.

— А это и не трудно. У меня и планчик есть.

Они пошли к Выборгскому шоссе, потом свернули направо — и через сумрачный Удельнинский парк, держась параллельно железной дороге, вниз под горку, по направлению к Ланской. И тогда же он, Рахья, подумал: «Очень верно поступили, что не поехали до Ланской, а сошли на Удельной. Всего пара километров, а Ланская — станция дачная, народу там сейчас тьма».

В парке и на дороге вкрадчиво шуршали опавшие листья. Пахло сладковатой прелью и здоровой осенней свежестью. Птицы давно уgomонились. Не было случайных прохожих, патрулей. Район больших заводов, фабрик рано ложился спать.

— Здесь все время так тихо?

Рахья ответил:

— Нас, на Выборгской стороне, не беспокоят...

Всю дорогу, как только, не мешая конспирации, появлялась возможность, Ленин опять засыпал Рахью вопросами. И он, Рахья, все удивлялся их конкретности. Как Владимир Ильич держал в памяти и такое количество разных названий заводов, полков, и столько адресов и имен? Как решили на «Айвазе»? Как на «Старом Парвиаинене»? Что говорили меньшевики на митинге на Путиловском? Кто голосовал, какое большинство? Побывал ли Рахья у самокатчиков? А что в первом пулеметном полку? А что в Московских казармах? А он, Рахья, в этих казармах как раз и не был. Но все равно отвечает: не был, но товарищи рассказывали, что настроение хорошее. «Да, я тоже слышал, что настроение хорошее»,—

говорит Владимир Ильич. И опять Рахья удивляется, что, живя в Выборге, товарищ Ленин знает всю обстановку лучше его, Рахьи, исходившего весь Петроград вдоль и поперек. И еще Рахья тогда замечает, что все вопросы вертятся вокруг одного: настроение рабочих, солдат, населения, настроение буржуазии. Ну как, буржуазия напугана или не напугана разворачивающимися событиями?

— Нас, на Выборгской, не беспокоят, даже патрулей Временное правительство сюда не посылает. После июльских дней нас били,— откровенничает в тот вечер Рахья,— а теперь наша очередь. На Петроградскую сторону идем уже десятком. Если классовый враг пристанет, у нас перевес.

— И выходит?

— Хорошо выходит. Время-то сейчас боевое. Я почти каждый день в драке. Главное, даже котелок стал надевать, а мне, только в центре во что-нибудь ввяжусь, все равно заявляют: ты большевик.

— Несмотря на котелок?

— Может, он мне не идет, не к лицу?

И здесь даже он, Рахья, испугался, потому что товарищ Ленин вдруг как-то крикнул, стал хватать ртом воздух и вдруг, не удержавшись, заливисто, весело, на весь Удельнинский парк рассмеялся, вытирая кулаком вдруг выступившие от какой-то его очень веселой мысли слезинки в уголках глаз.

И опять он, Рахья, подумал: «Ну что за человек, только что перешел границу, где его двадцать раз могли подстрелить, сейчас еще не ясно, где будет ночевать, теоретик партии — и так смеется...»

Константин Петрович

В половине одиннадцатого за Маргаритой закрылась дверь, и, как всегда, он остался в квартире один. Сразу обступила настороженная, очень осязаемая тишина. Внизу во дворе скребла метла дворника, сгребавшего последние листья. На кухне капала вода из плохо прикрытого крана.

Он подошел к окну. Отсюда, с четвертого этажа, разворачивался привычный, надоевший за эти дни скучный пейзаж: двор, отграниченный от пустыря дощатым забором, крыши дач, раздвинувшие голые ветви, за двором унылый птичник, слева высокая насыпь с отсвечивающими железнодорожными рельсами. И над всей этой тоскливой картиной — тяжелое, набрякшее вечной серостью от густых испарений небо.

Он проснулся со вчерашней усталостью и головной болью. Он устал от переездов, устал все время контролировать каждый свой шаг, часы проводить в пустой квартире, ожидая, не раздастся ли наглый филерский стук в дверь или не повернется ли осторожно ключ в замке. С этим осторожным шорохом ключа друга всегда приходили известия.

О, как нелегко часами ждать известий! Высчитывать, сопоставлять разнохарактерную газетную информацию, выжимая из нее действительное положение вещей. В оговорках политических противников отыскивать куцые истины и из легиона случаев, фактов и фактиков, отбрасывая ненужное, укрупняя, собирать, свинчивать всеобъемлющую картину настоящей, деятельной и живой жизни. Как он соскучился и тоскует по этой жизни в своем вынужденном заточении!..

Как давно это было! Разве время не измеряется количеством событий? Давно? Всего лишь неделя, чуть больше, чуть меньше, как он вернулся в Питер. Он

впервые увидел тогда товарищей. После июльских дней впервые был на заседании ЦК.

Поздно вечером 10 октября, уже стемнело, пришел Рахья. Он спросил тогда у Рахьи: «Куда?» Тот улыбнулся загадочной улыбкой хитрована: «Теперь моя очередь вести. Далековато. На набережную Карповки».

Уже входя в добротную, с налаженным бытом квартиру, он вопросительно взглянул на Рахью. Тот был верен себе, внешне безэмоционален, собран, готов к любому вопросу: «Квартира Галины Константиновны Флаксерман. Наша, большевичка. А вот муж у нее, говорят, — один из редакторов «Новой жизни». Он, кажется, тогда сдержался и не выдал своего изумления. Жена известного меньшевистского публициста. Как все же иногда убеждения разводят людей! Одна крыша, один дух... А вот здесь понимание задач времени и тенденции этого времени разбивает двух людей, наверное любящих или когда-то любивших друг друга. Они уже сейчас по разные стороны баррикады. И согласия не будет...

Как долго он ждал, что когда-нибудь сможет присутствовать на таком, решающем все заседании ЦК. Ждал и надеялся всю жизнь. Сначала казалось, что все это может произойти очень не скоро, в едва обозримом будущем. Потом время принялось бежать быстрее. Две революции подхлестнули, пришпорили время, и уже в Финляндии он окончательно понял, что это заседание ЦК близко, рядом, дело дней. И он, как мог, тоже торопил время.

Вполне интеллигентная квартира у большевички Флаксерман и меньшевика Суханова. В столовой, почти квадратной комнате, — большой стол, дубовый буфет, в углу оттоманка в белом чехле. Как в интеллигентных домах, мебели мало, только необходимое. На стенах два портрета — Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

Над столом большая бронзовая лампа с белым шаром абажура.

После многих месяцев разлуки он снова видит лица своих товарищей и соратников. Знакомые ему в подробностях лица, он знает характеры каждого, сильные и слабые стороны. Они все, как и он, думали, наверное, о времени, о партии, которая должна вывести народ; весь народ к социальной справедливости и благу, к достойной человеческой жизни, они все думали и по-своему заботились о партии, которой руководили.

А вот и еще звонок в дверь. Условный. Разве женщины могут без опозданий? Кажется, можно начинать. Чего же Александра Михайловна Коллонтай так упорно и недоверчиво смотрит на него? Понятно, не узнала. Да и кто же его мог сразу узнать без бороды, в сивоватом парике: так, затесавшийся в среду профессиональных революционеров старичок. «Здравствуйте, Александра Михайловна. Не узнали? Вот и хорошо!» Как умно и сердечно улыбнулась эта преданнейшая революции женщина.

Но тогда же, в уютной столовой на Карповке, во время этого заседания, длившегося почти десять часов, он понял, что не все они, собравшиеся здесь, одинаково понимают тот коренной сдвиг во времени, в истории, который требует от партии и от них лично действия. Решительного. Немедленного.

Да, он был готов лучше всех, он понимал это, потому что был теоретиком, последовательным теоретиком-марксистом, знал, что только рабочий класс и его партия способны привести революцию к завершающему этапу, к социалистической революции. Недавно в Финляндии еще раз все обдумал, «сверился с Марксом, посоветовался», как он не переставал всегда говорить, и довел выводы до формул в своей новой книге. Втайне он гордился этой книгой. Все сошлось, прошлое и настоящий момент — «текущий», как записано у них в повестке дня. История работает по точным формулам, открытым

Марксом. Он еще раз убедился в том, в чем был уверен всегда. Марксовы законы суть законы действующие.

Как внимательно вслушивался в то, что говорили товарищи: а что дальше? А как? Он понимал, какова мера ответственности за судьбу народа, который ведет партия. Но у него уже были ясные ответы на вопросы товарищей. Его ответы питались не только замечаниями Маркса, но и глубоко продуманным опытом 1905 года, февраля 1917-го, опытом трудного июля, опытом революционного движения в России и других странах. Большинство теперь идет за нами. Политическая обстановка созрела для захвата власти вооруженным путем... Надо говорить о т е х н и ч е с к о й стороне дела. Что за чушь, будто рабочий класс России якобы не дорос еще до взятия власти в свои руки! Что за пагубная нерешительность — ждать открытия Учредительного собрания, обещанного Временным правительством! Он уже давно ответил для себя на вопросы, которые у товарищей только начали возникать. И он все время сдерживал себя, хоть весь кипел, — вот как иногда трансформируются идейные шатания! — и тем не менее настойчиво, шаг за шагом, пункт за пунктом разъяснял свою позицию, свою мысль.

Они сидели за столом, накрытым белой скатертью, под низкой изящной лампой. Блестели на изломах стекла стаканы с крепким чаем. Уже высказались все его оппоненты, и он сумел убедительно им ответить. Надо решительно брать власть, готовить партию к вооруженному восстанию, для грамотного марксиста все это очевидно. Еще в 1915 году он определил главные признаки революционной ситуации, теперь видел: ситуация в России близится к решительному моменту. Политически — внутри страны и вне ее — дело совершенно созрело. Выборы в Советы в Петрограде и Москве показали: массы за большевиков... Если отбросить упрямство и ущемленные самолюбия, неизбежные и в теоретическом споре взрослых людей, то все ясно и просчитано, как простая гамма.

Голосование. Соль этой должествующей повернуть жизнь всего народа резолюции в одной написанной им, Ульяновым-Лениным, фразе: «Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы...» Прак-ти-чес-кие! Голосование. Победа. Но двое против. Горько.

Хватит думать об этом.

Слева из-за дома, тяжело дыша, выскользнул паровичок и потащил в сторону Сестрорецка, в сторону Финляндии, целую связку теплушек и грузовых платформ. Он, наверное, наизусть знает и помнит все станции по этой дороге. На одной делал пересадку, на другой проверяли документы, на третьей менялся кочегар, на четвертой сходил, чтобы скрыться в доме товарища. Каталог его конспиративных убежищ!

Паровичок, сжилившись, утащил состав, пропал за скривлением пути. Снова тишина и привычный скучный пейзаж: две респектабельные дачи, песчаный двор, забор, за которым унылый птичник; дворник, видно, домел площадку перед подъездами, росчерка метлы уже не слышно.

Как бы он хотел, чтобы окна этой квартиры выходили на город. Совсем рядом поднимается, вырастая из «топи блат», гигантский город. Всего одна остановка на неторопливом паровичке, несколько остановок на трамвае. Десять—пятнадцать минут езды — и памятный ему Финляндский вокзал.

Но и сейчас, стоя к городу спиной, он ощущает его несокрушимую мощь. Огромный город. Теперь уже родной для него город. Здесь прошла его юность. Здесь он потерял Сашу, Олю, маму. Он приходил к Оле в общежитие Бестужевских курсов в дом 39 на Десятой линии, и они

вдвоем шли гулять по Васильевскому острову. По Большому проспекту, по набережным. Они шли мимо серого четырехэтажного дома, где всего несколько лет назад помещалась динамитная мастерская «Народной воли» — это Саша. Страшно было подумать о его последней ночи перед казнью в Шлиссельбурге. И он так и не попросил пощады, не захотел, несмотря на все уговоры, помилования. А потом заболела и умерла Оля, любимая сестра. В Александровской больнице на Фонтанке. А в шестнадцатом, года не дождавшись до возвращения сына в Россию, умерла мать, друг, защитница. Город соединен с ним тысячью нитей. Город, который питал его разум, закалял волю, приносил разочарования, город, с которым связаны все надежды.

Он видит его в эту минуту весь — раскинувшийся по берегам рек, речушек, отвоевавший себе место у топей и плывунов. Представляет его в переплетении улиц, в скопище заводов, дворцов, фабрик, гостиниц, бань, домов свиданий, ресторанов, лачуг, вокзалов, казарм, манежей, бараков, слободок, опутанный телеграфными и телефонными проводами, ошетилившийся пушками и штыками. Гигантский Вавилон, созданный людьми, но созданный для жизни не всех людей. А те, кто живет в каменных коробках на Выборгской и Охте, хотя достойной жизни, хотят, чтобы все лучшее, что заложено в них природой, тоже имело шанс развиться, прорасти, реализоваться. И как хочет он, добровольный узник этой пустой квартиры, счастья и свободной, без гнета и ярма, жизни для всех этих людей. Свободной, светлой жизни для тех, кто вгрызается в мерзость фронтового окопа, чтобы выжить, чтобы сохранить свое единственное достояние — жизнь. Во имя чьих интересов они должны, в разрывах снарядов и облаках иприта, терять данную им великой матерью-природой жизнь? Единственную, неповторяющуюся и неповторимую. Во имя своей семьи, продолжения рода, во имя, наконец, Родины? Нет. Во

имя интересов людей, на которых они работали всю жизнь. Во имя того, что русский Ротшильд чего-то не поделил с Ротшильдом немецким.

Огромный город, в котором живут рабочие и солдаты, лавочники и прислуга, князья и архимандриты, мастеровые и жулики, профессора и артисты, гениальные ученые и гениальные писатели, карточные шулеры и биржевые маклеры, железнодорожники, швеи, балерины, а в принципе всего две категории людей: кто создает своим трудом материальные ценности жизни и кто, открыто или маскируясь, тайно, эти ценности присваивает, работающий люд и паразиты. Он, уже немолодой, сорокасемилетний, много повидавший человек, не может риторически воскликнуть: почему же люди не в состоянии жить, как нужно?

Обращения только к разуму и справедливости наивны. Сентиментальщина. «Как нужно» — это еще необходимо завоевать.

Он чувствует этот огромный город, сердце гигантской империи, средоточие всех ее противоречий. Мощь города и протестующая сила, долго копившаяся, медленно вскипая и поднимаясь, сейчас грозит захлестнуть все и спрямить себе дорогу. Он сам приглядывался к этой силе, помогал ей осознать себя. И как же хочется ему сейчас взглянуть на нее! Пройтись в расстегнутом пальто по городу, взглянуть в белые, без загара, лица рабочих, услышать рокот народной воли. А он должен, обязан сидеть здесь и ждать известий. Он должен выполнять свою главную работу — думать, убеждать, организовывать.

Восстание — это искусство, но ведь и искусство подчиняется своим законам. Вот уже много дней, вернувшись из Финляндии, из Выборга, он готовит партию, объединяя ее вокруг самой насущной задачи момента — вооруженного восстания. А события набирают скорость. Как там в городе, как там?

Спокойнее, все идет к решительному часу. Идет. Все уже началось, а господа меньшевики, кадеты и пр. и пр. в своем упоенном краснобайстве просто не заметили этого. Все идет от успеха к успеху. Успех каждый день, каждую минуту, хоть крошечный. Ну, наши успехи они видят. Видят и комиссаров в полках, и нашу победу на выборах в Советы. Но они думают, что и в этот раз все произойдет так же, как было 4 июля. Массы народа, демонстрации. Они успеют или сдать город немцам, или стянуть верные войска. А главное, получают давно лелеемый повод стрелять в народ, утопить его в крови. Нет!

Все уже началось.

Казачьи полки, видите ли, собирались пройти крестным ходом по улицам Петрограда в честь столетия освобождения Москвы от французов в 1812 году. Невинная затея, вызванная самыми патриотическими побуждениями.

Только собирались идти крестным ходом в конном строю и при оружии. Богомольцы!

22 октября партия проводила День Петроградского Совета, сбор средств для прессы, день массовых мирных агитсобраний, а казачки по Обводному каналу — к Александро-Невской лавре, по Шпалерной — к Петропавловской крепости, а затем к Казанскому собору, да еще собирались прихватить с собою Николаевское юнкерское кавалерийское училище и сводную казачью артиллерийскую батарею. Богомольцы? Блаженные? Масса на массы! А 4 июля начиналось не возле Казанского собора? Не поблизости ли, с крыш Садовой, застрочил пулемет? Ну, что ж, Временное правительство готово пустить в ход и артиллерию...

Вопрос вооруженного восстания решен. Но оно должно состояться, когда выгодно нам, а не когда вооружатся их благородия. Идти в драку, когда противник отобилизован и сидит на коне — невыгодно. Винтовка — серьезная штука, но не против артиллерии.

Но ведь слово «казаки» не синоним понятий «кулак» и «буржуй». Двадцатый век, социальное расслоение коснулось и их. На один богатый и сытый казачий двор — десяток бедняцких или полубедняцких. Разве те же казаки не отказались от своего крестного хода, когда представителей казачьих полков вызвали на совещание полковых комитетов Петроградского гарнизона, когда им разъяснили, что речь идет не о патриотическом начинании, а о политической аванюре? Да и на совещании оказались твердые люди: «Петроградский комитет заявляет: на страже революционного порядка в Петрограде стоит весь гарнизон вместе с революционным пролетариатом».

Ну и что Временное правительство? Испугалось силы пролетариата и его организованности. Сила пошла на силу. Пришлось Временному правительству принимать другое решение. Может быть, и не очень ему желательное. И эта отмена демонстрации казаков есть гигантская победа... Эта победа еще раз показала: наступать из всех сил — и мы победим в несколько дней.

За окном скучный, надоевший до чертиков пейзаж. Холодный осенний день. Но за работу все равно надо приниматься.

Он взглянул на пачку газет, принесенных с утра Маргаритой. Что в них? Он не один раз ловил себя на том, что иногда с брезгливостью разворачивает газеты. Что там припасла «свободная пресса»? Почему-то в памяти возник газетный снимок из черносотенного «Вечернего времени». На фотографии он, Крупская сидят в машине и подпись: «Большевицкий вожь и его жена бегут за границу с нагробленным золотом и другими ценностями; переезжают финскую границу». Вот так, ни больше и не меньше.

Чем сегодня порадуют его газеты? Он разворачивает первую, лежащую сверху и читает, что правительство закрыло газеты «Новая Русь», «Живое слово», — это, конечно, чтобы выглядеть объективнее, да и газетки это такие, что одна грязь, и наши закрыли — «Рабочий

путь» и «Солдат». Правительство также постановило арестовать руководителей Петроградского Совета и членов Военно-революционного комитета.

Началось. День настал.

Маргарита

На остановке трамвая Маргарита взглянула на наручные часики: все точно, из графика не выбилась, успевает. Сегодня день легкий, вторник: лишь к издателю Девриену и к профессору Недокучаеву, но до этого, как обычно, утром надо забежать с записками в райком.

Маргарита прикидывает для себя план дня, в уме все расписывает по часам, старается все предусмотреть, чтобы потом на работе чувствовать себя уверенной и спокойной — владеть ситуацией.

Это не шутка — одинокой женщине содержать семью, платить за квартиру, за все платить, воспитывать детей, да еще при этом и самой учиться. Боже мой, тридцать четыре года, мать двоих детей, а еще студентка. Но ведь ничего не поделаешь: со скоростью курьерского поезда мчит двадцатый век — век социальных потрясений и знаний. Хорошо еще, что есть в Петрограде знаменитые Стебутовские курсы и добрая святая душа Иван Александрович Стебут, доказавший так называемой общественности, что женщины могут быть агрономами, полеводцами. Какая была проделана им огромная работа, прежде чем возникли эти сельскохозяйственные курсы. А ведь когда-нибудь в энциклопедии напишут одной строкой: «Стебут И. А. — выступал в защиту женского с.-х. образования в России; возглавил первую в России кафедру растениеводства...» Разве дело здесь только в женском сельскохозяйственном образовании? В женской самостоятельности.

Как же ей, Маргарите, хотелось самостоятельности, хотелось с юности. Самостоятельности и независимости. А для этого надо было что-то поломать в домостроевщине уютной жизни империи. Вот и меняли. Домострой противодействовал: первый арест был в 1903 году. Вскоре после гимназии. Очень точно тогда домострой аргументировал свою позицию: «Помощница учительницы, заведующая библиотекой, снабжает местных жителей изданиями не здешней библиотеки, огромные кipy которых привозит из города Перми... Сближаясь с крестьянами и сама не признавая церкви, исповеди, мощей, бога и царя, откровенно все порицает. Почему представляется особой очень вредной». А было в то время этой «вредной особе» всего 19 лет!

Ну, ничего, Маргарита, *per aspera ad astra* — через тернии к звездам — это тоже из гимназического курса. *Aspera* дают, в конце концов, жизненный опыт, через эти тернии осознаешь необходимость. Она, Маргарита, по крайней мере знала всегда, что ее личная независимость придет к ней через труд и через труд в партии — к освобождению труда. А пока освобождение, то есть то, что она делает для этого освобождения, — это тайное; ее походы за газетами, уборка квартиры, обед к четверем, условные звонки, а труд — у издателя Девриена секретарем «Большой энциклопедии сельского хозяйства» (150 руб.), помощником редактора журнала «Сельскохозяйственное лесоводство» (100 руб.), лектором по воскресным дням в Сельскохозяйственном музее, ассистентом у птицевода Елагина (50—80 руб.) — это все явное. Явное и давало студентке некоторую независимость. Правда, обувь горела (на извозчике — это уже другой класс жизни и вообще другой класс) и все время побаливала от недосыпания голова. Зато можно было распоряжаться своим временем, брать редактуру на дом. Удобно.

Была у нее, Маргариты, и еще одна работа... При

Выборгской районной думе вскоре после февраля организовали отдел наробраза и тут же подотдел внешкольного воспитания. Взрослые с утра до ночи стояли у станков и ткацких машин, взрослые бастовали, ходили на демонстрации, записывались в Красную гвардию, и у детей, у маленьких, пусть будет будущее. Мало мы пока можем сделать для них. Так сделаем, что можем! Здесь, в наробразе, Маргарита и познакомилась с Надеждой Константиновной.

— Крупская,— сказала, пожимая руку, женщина с усталым лицом, на котором светились доброжелательные глаза,— Надежда Константиновна.— Маргарита сразу же заметила, что говорит ее новая знакомая тихим и отчетливым голосом.

— Фофанова, Маргарита.

— А по батюшке?

— Васильевна.

— Я очень рада, Маргарита Васильевна.

Маргарита потом, когда они вместе работали, не раз ловила на себе пристальный, изучающий, но неизменно доброжелательный взгляд Крупской.

Так мало мы пока делаем для детей, так их надо развивать, если не приобщать, то хотя бы показывать им иную, светлую и полную жизнь. Тогда-то было решено организовать на Большом Сампсониевском, совсем неподалеку от дома Маргариты, клуб внешкольного воспитания.

Она занималась с детишками ботаникой, растениеводством, а если начинался дождь — рисованием, лепкой. Как охотно они сбегались в клуб со всего района и какие это были удивительные, одаренные дети! Наверное, она, Маргарита, всегда будет помнить, как двое мальчишек слепили из пластилина фигурки — иллюстрации к басне Крылова «Лисица и Виноград». И такие талантливые, пытливые дети могут погибнуть от безнадзорности, от бескормицы, от дурного уличного влияния. Мар-

гарита очень увлеклась клубом. И все же эту работу, скудно оплачиваемую, почти даровую, но бесконечно интересную, пришлось бросить.

Через несколько дней после того, как приехал из Финляндии ее жилец, Маргарита напомнила о детском клубе Жене Егоровой и Надежде Константиновне.

— Но ведь вы, Маргарита, очень любите детей.

— А день приезда?.. Вы помните, Надежда Константиновна?

— Да, пожалуй, вы правы.

— Я сейчас должна сосредоточиться лишь на самом необходимом.

Она, Маргарита, хорошо помнит, что квартиру, как и договаривались с Женей Егоровой, она готовила к 1 сентября. Дата запомнилась еще и потому, что 27-го она отправляла детей к матери в Уфу, а эти даты не забываются. Даты разлуки с самым для нее дорогим. Через Надежду Константиновну уже давно в Финляндию был отправлен второй ключ от квартиры и подробные планы всех комнат, коридоров квартиры и подходов к дому и со стороны Удельной и со стороны Ланской. Но проходит одна неделя, вторая... Жизнь у Маргариты не изменилась. По строго договоренным дням — вторник и четверг — в издательство Девриена, во вторник же, во второй половине дня, встреча с редактором журнала профессором Недокучаевым, а остальное уже по мелочам, да еще, совсем к вечеру, занятия в клубе. Это близко, это рядом, так рядом, что ее коллеги, педагоги и воспитатели, раз в неделю обязательно говорили: «А не устроить ли нам, Маргарита Васильевна, «педсовет»?»

Собиралось несколько женщин-педагогов, раньше иногда бывала и Надежда Константиновна. Пили чай из самовара в столовой. За чаепитием как-то просто и легко рождались планы работы на неделю, на месяц.

Квартира должна быть готова, но ведь никто не называл Маргарите дату, когда к ней придут... А потом нелегко

уже было ломать традицию и в сознании товарищей. Сегодня вечером она занята, завтра занята, а ведь послезавтра и не откажешь в гостеприимстве. «Ну, Маргарита Васильевна, мы сегодня к вам на педсовет, надо делать месячный план».

В середине стола попухивал самовар, в фарфоровых чашках — не парадных, были еще в буфете красные, с богатой каймой, но они хранились для самых торжественных случаев, — в чашках с синим скромненьким ободком золотился настоящий китайский чай, в разгаре была педагогическая дискуссия, а педагогическая дискуссия, как снежная лавина, ее не остановишь, — и вдруг она, Маргарита, услышала, скорее почувствовала, как поворачивается ключ в замке.

Он!

Это надо же было допустить такое безрассудство, не закрыть дверь в столовую! Пока медленно и для всех, наверное, неслышно поворачивался ключ, Маргарита все просчитала: кто сидит лицом к двери, кто близорук, кто невнимателен, кто слишком увлечен разговором.

Еле скрипнула входная дверь, потом снова скрипнула — закрыли. Сейчас!

— А не хотите ли еще чаю?

В пролете двери, в четко освещенном большой лампой с горелкой Ауэра квадрате, промелькнула крепкая, знакомая фигура. Неспешной, уверенной походкой он прошел в конец коридора, и снова в опытных руках привычного конспиратора щелкнул внутренний замок.

Урок на всю жизнь!

Вскоре пришла Надежда Константиновна. Поздоровавшись, мельком, проходя в последнюю комнату, взглянула на компанию, через пять минут вышла, вызвала ее, Маргариту, в коридор, отчитала — мягким, неизменно доброжелательным голосом — «надо скорее всех спровадить».

— Может быть, чаю, что-нибудь закусить?

— Благодарю, Маргарита Васильевна,— голос добродушный,— мы ничего не хотим.

Наконец подошел трамвай. Еще раньше, стоя на остановке, Маргарита обнаружила, что народу на улице больше, чем обычно. А может быть, ей так показалось? В трамвае тоже — ходил он редко, загородная линия —людно, публика для этого часа неожиданная: не только доживающие сезон дачники, но и лица другие — угрюмые, рабочие, трудовые. Да и патрули — пока ехали, видела Маргарита из окна вагона — попадались вдоль Сампсониевского чаще, чем обычно. А может быть?.. Но могло быть и самое плохое, ведь, наверное, недаром в газетных киосках сегодня не было ни «Рабочего пути», ни «Солдата». Продавцы ей так и объяснили: «Сегодня эти газеты не выходили». Почему не выходили? Вот так было и тогда, в июле, после расстрела мирной демонстрации и разгрома «Правды». А вдруг!.. Так их, большевиков, не много, а у Временного правительства юнкерские училища, тысячи офицеров, казаки. Передвинули к Петрограду верные полки. Что же делается в городе? И Маргарита вглядывалась в привычные уличные картины, вслушивалась в трамвайные разговоры, пыталась что-то понять, сопоставить, нарисовать для себя обстановку. Но общая картина не возникала, люди в вагоне особенно не разговаривали, ехали отчужденно, каждый за себя. И Маргарита махнула рукой на свои аналитические способности: надо терпеть в неведении. Приеду в райком, разберусь.

В райкоме атмосфера была напряженная, и хотя Женя Егорова, как всегда, улыбалась и шутила, делая одновременно тысячу дел, Маргарита поняла, что и она чем-то обеспокоена. И передавая, как обычно, принесенные от него бумаги, решила ни о чем не расспрашивать, но не утерпела — поставила вопрос косвенно:

— Я чем-нибудь не могу помочь?

Женя сняла очки, делавшие ее похожей на молоденькую учительницу, протерла их и сказала твердо, ясно, вкладывая в свои слова понятный обоим подтекст:

— Нет. У тебя, Рита, уже есть поручение.

— Я поняла,— сказала Маргарита и тут же подумала: «Как он там, в пустой квартире, затворник?» — И еще у меня вопрос: почему не вышел «Рабочий путь»?

На мгновение у «молодой учительницы» взгляд за стеклами очков потеплел, стал задиристым, как у гимназистки старшего класса:

— С «Рабочим путем» все в порядке. Возьми экземпляр, передашь: там его статья «Новый обман крестьян партией эсеров». А не вышел потому, что возникли мелкие недоразумения. Не волнуйся, Рита.

В тот день Маргарита, успокоившись немного после слов Жени Егоровой, так толком ничего и не узнала об этих «мелких недоразумениях». Вышла газета и слава богу, еще один риф прошли, оказалась ложной тревога.

А было так.

В пять часов тридцать минут типография «Труд», где издавалась газета, по распоряжению Временного правительства «социалиста» Керенского была опечатана комиссаром 3-го Рождественского района, прибывшим вместе с юнкерами 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков. Были разбиты стереотипы, опечатаны уже готовые экземпляры номера. И в тот же день, через несколько часов, прапорщик 3-го запасного полка, большевик с семилетним стажем Петр Дашкевич получил предписание Военно-революционного комитета о распечатании типографии. Уходящая власть буржуазии приказала типографию закрыть, Военно-революционный комитет этой власти не подчинился. Реальную власть шаг за шагом народ отбирал.

Двадцатидевятилетний Дашкевич вызвал в нижний коридор Смольного караул из четырех солдат лейб-гвар-

дии Волынского полка и через помещение Александровского института, занимавшего крыло Смольного, не через главный подъезд, вывел четверку рослых, здоровых — как и положено в гвардии — и подтянутых волынцев прямо на площадь, к которой примыкала Шпалерная улица. Перейдя площадь, прямо за плацем, караул свернул на Кавалергардскую улицу.

Гвардейская твердая поступь громко раздавалась в слегка морозном утре. Бравый прапорщик Дашкевич, не показывая вида, волновался: кто там охраняет типографию? Окажут ли сопротивление? Прольется ли первая солдатская кровь за пролетарскую революцию? Караул знал свою задачу, газету читал и одобряет, в редакции предупреждены об их прибытии, ждут, Дашкевич сам вместе с разводящим проверил винтовки, патроны, сумки у солдат. Все в порядке, но прапорщик подбадривает себя: смелость, смелость и еще раз смелость!

Почти сразу же за углом — типография. Возле ворот поджидают срочно вызванные наборщики и печатники. Стоят на тротуаре, сидят на уличных тумбах, курят.

У лестницы в типографию в серой шинели Сталин. Он здесь представляет газету, Центральный орган. Сталин знает, зачем пришел караул. Они переглядываются с Дашкевичем. Но новая власть — это не власть стихии и бунта, а власть порядка, нового, творимого народом закона. Дашкевич как можно торжественнее разворачивает приказ ВРК — плотный лист бумаги большого формата — и официальным голосом читает. Формальная часть закончена.

«Смелость, смелость и смелость». На каком же митинге услышал или где-то прочел он эти слова Дантона?

Караул поднимается вверх по лестнице. Напряжение растет. На двери типографии сургучная печать, рядом на посту одинокая фигура солдата-кавалериста с винтовкой в руках.

Сейчас все и решится.

— Разводящий, по распоряжению Военно-революционного комитета произвести смену часового!

В нарушение устава старой армии, предписывающего, что только начальник или разводящий выставленного караула имеет право сменить часового, а часовой подчиняется только ему, разводящий нового караула приказал своему часовому заступить. С облегчением кавалерист сдал пост.

Верные и преданные у Временного правительства войска!

Остаются мелочи. Прапорщик Дашкевич срывает печати на двери, перерезает шнуры с печатями, пропущенные через ходовые части печатных машин.

Дело сделано.

...Немного успокоившись после разговора с Женей Егоровой, Маргарита, выходя из кабинета, столкнулась с Дядей, как в райкоме называли Мартына Лациса.

— Маргарита,— сказал Дядя,— нет ли у тебя еще револьвера?

После 4 июля, как помнит Маргарита, они долго в райкоме и между собой говорили о тех днях. Почему так произошло? В этих разговорах приводилось много причин, и одна из них — слабость Красной гвардии, невооруженность рабочих. И тогда же, при Лацисе, во время этих разговоров Маргарита сказала, что в вещах жениха ее сестры Веры осталось два револьвера. Комиссаров был офицером и погиб на фронте. Разве могла она, Маргарита, не принести тогда это оружие? Ах, как тогда надо было собирать оружие, готовиться уже к этому выступлению. Но Лацис просто грабитель.

— У меня есть собственный браунинг,— спокойно сказала Маргарита,— но я его никому не дам.

— Это, пожалуй, разумно,— сказал Мартын.

А Маргарита снова заволновалась, она поняла, что то, ради чего она жила, к чему готовилась, о чем с июня писали все большевистские газеты, то, о чем постоянно

думалось, но предполагалось почему-то только «завтра», то есть с каждым днем отодвигаемым «завтра», уже наступило. И тут же, как всегда в момент опасности, первая мысль, которая возникла, была о детях. Как они там? Как ближайшие события дойдут до их мест? Что с ними будет? И уже выйдя из райкома, почти автоматически делая необходимые пересадки, пересекая перекрестки и сворачивая в нужные улицы, она неотступно вспоминала о них, представляла их мордашки, привычки, их болезни, капризы, она думала о них и одновременно переворачивала перед собой картины последних месяцев.

Да, Женя Егорова умела брать мертвой хваткой. Но ведь и она, Маргарита, сознательный человек, тоже понимала, что быть в партии — это не получать преимущества, это моральный долг, строгость перед самой собой, ответственность, риск, самопожертвование и дисциплина.

— Твоя квартира, Рита, потребуется партии (разговор шел при Крупской), ты согласна? — И не давая Маргарите возможности ответить, Женя сразу же добавила: — Вернется в Питер Владимир Ильич и будет жить у тебя.

В первый момент Маргарита обрадовалась, подумала: значит, доверяют до конца, значит, выдержала все испытания. Ну что ж, они правы, и сама Маргарита считает себя верным человеком. Разве она достойно не выполняла своих обязательств члена партии даже в самые трудные для партии дни? Значит, у нее в квартире будет жить Ленин. Она, Маргарита, тут же вспоминает, как 6 июля, вскоре после расстрела войсками Временного правительства на углу Садовой и Невского мирной демонстрации, разгрома «Правды» и приказа об аресте Ленина, она пришла в райком. День у нее был трудный и все же, как всегда, она пришла в райком. И сразу же Женя Егорова сказала ей: «Беги домой и жди на углу Большого Сампсо-

ниевского и Сердобольской машину. Надежда Константиновна уже ушла к тебе предупредить».

Но Надежды Константиновны она, Маргарита, не стала. Та, видимо, позвонила, постояла у закрытых дверей и снова направилась в комитет. Маргарита ее увидела идущей в ту сторону, когда проезжала по Сампсониевскому на трамвае...

Вскоре к условленному перекрестку подошла машина. Машины останавливались тут редко, и обознаться было невозможно. Маргарита всех приехавших знала в лицо. Она бросила, будто на ходу: «Идите за мной».

Они поднялись по лестнице на четвертый, последний этаж, Маргарита отомкнула дверь и пропустила всех в столовую. Ленин был в пальто. Цепким, внимательным взглядом он оглядел всю комнату, будто сфотографировал, будто уже заранее предполагал, что через несколько месяцев будет проводить здесь долгие дни. Почти студенческий быт и тяжелый, кропотливый, за письменным столом, труд хозяйки бросались в глаза. Закрытый, безо всяких украшений, функциональный, — как сказали бы шесть десятилетий спустя — буфет, дубовый обеденный стол, простой, без затей самодельный стеллаж с потрепанной — видимо, часто используемой — литературой, письменный стол в углу со щегольским порядком и простенькой, каслинского литья подставкой для ручек. Прекрасная дорогая и мощная над столом лампа. Значит, хозяйка работает и вечерами. Добротными и дорогими были еще только стулья — дубовые же с двойной оплеткой из рисовой соломы. И пристрастия хозяйки бросались в глаза: на стеллаже ваза с цветами, срезанными летниками, а в простенке между окнами большая пальма — латания.

Ленин, не снимая пальто, сел слева за стол. Началось узкое заседание членов ЦК РСДРП(б) по поводу только что прошедших событий. Была также заслушана информация об образовании ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и по настоянию фракции большевиков —

комиссии для расследования клеветнических обвинений против Ленина. Было решено не переводить партию на нелегальное положение, но принять меры предосторожности против провокаций контрреволюции. Совещание обязало Ленина оставаться в подполье.

Но всего этого Маргарита не знала. Она сторожила совещание, а потом товарищи попросили всех их подкормить. Пришлось на керосинке жарить яичницу с колбасой — быстрое студенческое лакомство.

Ну что ж, в тот раз, в трудном июле, она, Маргарита, выполнила быстро, четко и хорошо то малое, что ей поручила партия. Сейчас все серьезнее. Она не имеет права ни на какие сбои. Весь распорядок и уклад жизни, понимала Маргарита, она должна будет подчинить своим новым обязанностям. Сможет ли она? Сможет. Должна.

— Согласна, Женя,— ответила Маргарита.

— Но для этого ты должна будешь отправить детей,— сказала Женя Егорова твердо и определенно.

Крупская опустила голову и начала разыскивать носовой платок в своем портфельчике.

— Я сначала должна,— в голосе Маргариты не дрогнула слеза,— списаться с родителями.

— Списывайся.

Родители на то и родители, чтобы в трудный момент приходить детям на помощь. Конечно, согласны: время военное, не сытое, в Петрограде, по слухам, беспорядки, забрать, забрать внучков под уютное бабушкино крыло. Пусть на воле, на деревенской свободе, подальше от городского шума и заводской гари побегают ребятя в их привольном захолустье. Разве могут родители не согласиться? Сын, дочери, Вера и Маргарита,— отрезанный ломоть. Как их в детстве лелеяли, учили, надеялись увидеть людьми солидными, даже важными, изо всех сил поддерживали, тянули: закончили обе дочери гимназии, первые с таким образованием в их мещанском роду. А сын Евгений — механик на пароходе линии Нижний — Пермь.

Талантливые, умные дети. Евгений стал революционером, распространял какие-то противоправительственные листовки, Маргарита в девятнадцать лет уже была социалисткой, Вера под влиянием сестры мятежна духом, одна надежда на младшую — послушную Анну. Нет, пусть едут внушки к нам на Урал, подальше от дурных влияний и революционных замашек.

Удалось уговорить сестру Веру отвезти детей. «Да мне отпуска не дадут, уволят, место потеряю...» Ничего, утрясли с начальством: на «Треугольнике», где Вера работала браковщицей противогазных масок, вошли в положение, отпустили. На 27 августа взяли билеты на поезд. Маргарита за три дня до отъезда привезла детей из-за города, из дачной местности, где они жили летом, возле реки Сестры. Три дня, только три дня! А в квартире уже начались перестановки, просто квартира перестраивалась под конспиративную. Первым делом Маргарита вместе с Надеждой Константиновной обошла все комнаты и выбрала дальнюю от двери, с отдельной печкой, самую глухую, потому что все три стены внутренние. Комната эта — спальня ее, Маргариты, и детей. Но дети ведь уезжают не на месяц, не на два, а, как уговорились, на целый год. Нельзя их перекидывать, как мячик, из привычного быта и атмосферы. Пришлось упаковывать игрушки, кровати, детский комодик и столик, носильные зимние вещи и все сдавать заранее в багаж. Хорошо, что согласилась тетка мужа: пусть три дня дети поживут вместе с матерью у нее.

С иступленной материнской лаской эти три дня обращалась Маргарита с детьми. И получше покормить, и развлечь, и сводить в зоопарк, и в кинематограф. А в сознании билось: три дня, и потом они уедут, их мордашки, их хрупкие беспомощные фигурки унесет поезд, и в ее памяти они останутся как зыбкие и ненадежные миражи. И тогда она решила: сразу их сфотографировать. До отъезда у хорошего фотографа Оцуа, во многих видах...

Она, Маргарита, помнит каждую деталь этого прощанья: и переполненный, как всегда в конце лета, вокзал, и Веру, с непривычки квохчущую возле детей, и Сережу и Галю в их белых панамках. А она, Маргарита, столько планов настроила на осень, когда дети окончательно вернутся с дачи. Ребятам, конечно, будет хорошо с дедом и бабушкой, они будут ухожены, одеты, вовремя накормлены, чистые. Но ведь не хлебом единым! Это ей, брату и сестре удалось выломиться из цепкой среды. У родителей — отец до глубокой осени, до ледостава пропадает на реке, на своем пароходике; капитан хоть и на хорошем счету у владельцев, но в возрасте, надо показывать каждую навигацию свои, еще якобы нерастраченные силы; мать — в вечной суете с вареньями, соленьями, запасами, с домом, — у родителей малышам будет привольно и удобно. Но она, Маргарита, сторонница глубинного воздействия на малышей семьи и собственных родителей, ей близки идеи Чернышевского о домашнем воспитании. А как удивительно приятно видеть, как прорастают в ребенке посеянные тобой навыки, крепнут закладываемые в него принципы. Она, Маргарита, недаром растениевод, ботаник. Как там, на далеком Урале, будут крепнуть ее росточки? Первое время она места себе не находила от неизвестности, а потом вернулась Вера и сказала: дети здоровы, веселы, как щеглы. Но разве не заскучают они по тихим семейным вечерам под яркой лампой? Кому показывает своих нарисованных лошадок Сережа? А будут ли ненавязчиво бабушка с дедушкой поощрять к рисованию и Галю?.. И до Веры она знала, что с детьми все в порядке, но материнское сердце способно придумать себе тысячу несуществующих страхов.

...Ну вот, наконец, и Четвертая линия Васильевского острова. Здесь, в самом начале острова, тихо, чинно, даже респектабельно. Рядом Академия художеств с ее сфинксами на набережной, университет с его чуть ли не на целую версту коридором. Неплохое место выбрал себе швейцарец Девриен для организации издательства. Все идет по

раз заведенному порядку. У нее сегодня заседание Большой редакции. Маргарита дорожит своим местом. И хотя график сдачи статей на определенную букву утвержден заранее и неукоснительно должен выполняться, но во времени можно лавировать: когда она статью закажет автору, когда пошлет письмо с заказом, когда получит и отредактирует статью, это никого не волнует, главное — тщательно и в срок.

Милый, тихий и уже старый швейцарец тем не менее организовал дело с большой расчетливостью. С точки зрения наблюдений хозяйским взглядом за сотрудниками и служащими новое здание было построено даже остроумно. На лицевой фасад выходил огромный кабинет хозяина с большой комнатой для заседаний. С правой стороны здания — бухгалтерия, которой командовал один сын. По левой стороне — другой сын, занимавшийся изданием детской литературы и оформлением книг. Сыновья сидели как бы в ложах, возвышавшихся над залом и выгородками, где за высокими конторками трудились пчелы интеллектуальной жизни. Ну, а уж для того, чтобы заглянуть в магазин, торговавший продукцией издательства, надо было спуститься по внутренней лестнице на первый этаж. Но и это не все, потому что если спуститься еще ниже в подвал, то там брошюровочная, откуда прямо на склад поступали на вагонетках книги. Во всем был порядок, расчет, скрупулезная целесообразность.

Уже подходя к издательству, Маргарита постаралась выбросить на время из головы все личное и сосредоточиться на рабочих делах. Мысленно перебрала про себя вопросы, которые могут сегодня возникнуть, необходимые дела, письма, которые обязательно надо отправить. Но еще только поднимаясь на второй этаж, поняла, что раз заведенная и всегда отменно точно тикающая машина Девриена нынче дала сбой.

Куда девался железный европейский порядок? Где хваленая дисциплина? Почему палка увольнений и вы-

говоров на этот раз не смогла справиться с какими-то сорока служащими, раз они, как полагалось бы добропорядочным бухгалтерам, тихим корректорам, вдумчивым редакторам, не сидят за своими конторками, уткнувшись в бумаги? Все толпятся кучками в большом фойе перед кабинетом старшего Девриена и довольно громко разговаривают, что совершенно было не принято, и даже размахивают руками. Не знаменитое издательство с устоявшейся репутацией, а какой-то митинг.

Маргарита по сложившейся в последнее время привычке слушать и запоминать все трамвайные, уличные, вокзальные разговоры (как часто ее беспокойный жилец спрашивал у нее вечерами: «А что говорят в трамвае?», «А о чем беседуют в поездах?», «А что думает о происходящем интеллигенция?»), — в соответствии с этой новой своей привычкой Маргарита подошла к одной группке.

— Керенский не фигура, которая сможет удержать власть. Он долго не продержится...

Маргарита отметила про себя психологический фон: говорили с неприязнью по отношению к министру-председателю.

Потом Маргарита подошла к другим говорящим. Тут наперебой уверяли друг друга, что в городе что-то происходит. Все сошлись, как люди бывалые, что дело явно неладно... «А может быть, наоборот,— подумала Маргарита,— очень ладно».

Потом подошла к третьим.

— Большевики...

Речь шла о партии. И только Маргарита приловчилась все как следует расслышать, вникнуть и запомнить, как встретила глазами с младшим Девриеном. Лицо у него было растерянное, недоумевающее, как у маленького мальчика, которому не дали конфетку. Пришлось оставить интересный разговор, подойти.

— Знаете, Маргарита Васильевна, на улицах марширует женский ударный батальон. Большевики, говорят,—

новости из Альфреда Альфредовича сыпались одна за другой,— берут район за районом.— И тут младший Девриен оглушил ее самой свежей новостью: — Мосты разведены.

Первой мыслью Маргариты было: «Как же я попаду домой?» Потом: «Все начинается, как в июле. Тогда тоже развели мосты, чтобы «чернь», рабочие с Выборгской, Петроградской стороны и Охты не смогли бы попасть в центр, а затем начали арестовывать наших, громить типографии».

Кое-как успокоив патрона, Маргарита бочком, бочком — бог с ним, с заседанием Большой редакции, как-нибудь потом, думала она, отговорюсь — бочком и за порог. (Тогда она не знала, что никогда больше сюда уже не вернется.)

Трамваи на Васильевском острове стояли. Николаевский мост был разведен, пролеты его подняты кверху, столбы электрических фонарей и трамвайные рельсы, перемещенные в иную, непривычную плоскость, выглядели какой-то нелепой фантазией.

Через Гренадерский мост Маргарита перешла на другую сторону реки.

Рахья

Он, Рахья, не так устроен, чтобы впадать в панику от любой мелочи. Нет мелочей. Надо до всего докопаться, дойти, а уже потом принимать решения. А самое главное: спокойненько, спокойненько, не торопясь, но все разузнать досконально. Он что, придет на Сердобольскую с паническим заявлением: ах, развели Николаевский мост? А разве этот мост никогда раньше не разводили? В корень надо глядеть, в самую суть. А в чем суть? Он недаром товарищу Ленину сказал тогда в Удельной, на станции: «А теперь мы бьем». Народ — сила, если организован, если он осо-

знал, чего хочет. А после четырех лет войны, после двух революций, после крови на фронте под германскими пулями, после крови на углу Садовой и Невского под пулями своих же солдат, под пулями, отлитыми на своих же, не немецких, а русских заводах, народ осознал, что лучше и точнее всего его желания и требования, справедливее и бескомпромисснее всего выражают большевики, формулирует партия российских социал-демократов большевиков. А усвоив и поняв, что он, народ, хочет и как хочет перестроить свою жизнь, — стал силой. А сила ломит силу, особенно если последняя — в р е м е н н а я, прогнившая, уже вчерашняя. Развели один мост! Как развели, так и сведут. Или он, Рахья, ничего не понимает в текущем революционном процессе, или не та уже ситуация, чтобы в Питере буржуазия сейчас хозяйничала бы, как хозяйничала еще в июле. Пора ей подвинуться, освободить место для власти настоящей, которой уже и само время, сами рабочие, крестьяне, солдаты, в общем сам народ, дали пока еще для уха непривычное, но понятное и близкое название — **С о в е т с к а я**.

Рахья разве для своего удовольствия топчет ботинки? Чтобы все знать. Все слышать. Он теперь глаза, уши, и телефон, и телеграф квартиры на Сердобольской. Нужна ин-фор-ма-ция, а не один случай. Как там у нас с другими мостами?

Рахья сегодня, конечно, выспался, набрался сил. Но вылеживаться, когда на дворе такие события, он не стал. По пролетарской закваске всегда спозаранку на ногах. Он, Рахья, тоже подошел к Николаевскому мосту. Мост охранялся. Толпа — уж он-то, Рахья, знает, что такое настроение толпы, — толпа колыхалась, надвигаясь на шеренгу охраны. Женщины — невыдержанный народ — что-то кричали. Ну, с разведением мостов у вас, господа хорошие, туговато. И немножко успокоившись, Эйно Рахья, еще молодой и крепкий тридцатидвухлетний мужчина, механик, матрос, чистильщик паровозов, стачеч-

ник, забастовщик, бунтарь, связной вождя мирового пролетариата, челноком — туда-сюда — по городу, везде прислушиваясь, приглядываясь, все запоминая.

Ну, теперь ему есть о чем порассказать сегодня вечером Владимиру Ильичу. Он даже представил себе — если бы положение не было таким решающим и было время, чтобы все это рассказать с подробностями, — он даже представил себе, как долго и весело, срываясь на заливыстый фальцет, хохотал бы тот над его рассказами про мосты. Молодцы, ребята! Но он тоже, Рахья, молодец: все выведал, все расспросил, везде успел, недаром у него пол-Питера знакомых. Ну молодцы, ребята, ну шельмецы! Откуда только такая сноровка у сегодняшней молодежи?

Это только правительство думало, что если в два часа дня главнокомандующий Петроградским военным округом отдал распоряжение Петроградской городской управе «в экстренном порядке развести мосты» через Неву, то, значит, и распоряжение было экстренным и готовилось и принималось в обстановке полной секретности. «У наших уши на макушке». У правительства телеграф и Петроградское телеграфное агентство на Почтамтской улице, 13, а у рабочих свой телеграф. И еще неизвестно, чей четче работает. Если финн, школьный дружок Рахьи, служащий чертежником в управлении милиции, доложил ему накануне, что вынашивается план развести мосты, это разве означает, что самому Рахье и сообщить об этом некому? Да у него пол-Питера, как всем известно, знакомых, да вдобавок ко всему брат Иван — член Петербургского комитета РСДРП (б).

В общем, когда в «экстренном порядке» принялись разводить Литейный мост и подъехал военный инженер с двумя юнкерами, то у Литейного кроме еще нераспропагандированной охраны оказалось и несколько наблюдателей. А чего здесь наблюдать, когда, того и гляди, мост разведут? Правда, у наблюдателей — красногвардейцев была на заводе уже наготове бригада квалифицированных

слесарей для мостовых контрмер. Но ведь надо организовать, а мост, того и гляди, разведут. И тут двадцатичетырехлетний слесарь-шорник с Патронного завода Ванечка Ляпин подмигнул своим: дескать, дуйте за слесарями, сам принялся при военном инженере выступать. Да так складно, просто и он, Рахья, славящийся своей предпримчивостью, так бы не мог. Дескать, говорит Ванечка, он здесь представляет 20 тысяч рабочих Орудийного и Патронного заводов. Если мосты будут разведены, оба завода объявят немедленно забастовку. И все в таком же духе. Ну и инженер здесь заколебался. А вдруг и его по головке не погладят? Сгреб он Ванечку в автомобиль и повез в штаб вместе с Ванечкиной устной петицией. А Ванечка и там горлышко напрягал, тянул время. До самого полковника Полковникова дошел, до командующего Петроградским военным округом. И тут высокое начальство, с проволочкой часа в два, решило: мост развести, а Ванечку Ляпина попросить успокоить рабочих. А тем временем рабочие и работницы распропагандировали охрану моста, слесаря сняли подшипники и рычаг и все это спрятали в подвале дома бывшего командующего Петроградским округом генерала Хабалова. Ванечка лично в этом убедился, слазав в подвал. Теперь разводите!

Так и с другими мостами. «Телеграф» работал. На Биржевом мосту рабочие завода «Вулкан» отобрали ключ у сторожа и для верности бросили его в Неву. Это он, Рахья, осуждает. Это бесхозяйственность. Вот в Гренадерском полку, там все по-солдатски, бережливо, четко. Весь угол комнаты, где помещался полковой комитет, завалили железяками, которые называются «ключи для разводки мостов»: и от Сампсониевского моста, и от Гренадерского. Так спокойнее. А дедушку — сторожа моста, который пришел вслед за солдатами, недовольный, что отняли имущество, доверенное ему охранять, утихомирили, утешили: «Ничего, дедушка, не беспокойся, ключи будут в полной сохранности. Вот мы здесь их положим, в полковом

комитете, а дня через два-три, когда все успокоится, вернем тебе обратно...»

За последние годы Петроград притерпелся к событиям: митинги, солдаты, революционные лозунги — дело привычное. Обыватель привык жить, не обращая на них внимания: ходит на службу, сидит в лавке, торгует, спекулирует, стоит в очередях за мясом и хлебом. Очень Рахью интересовало, догадывается ли обыватель о том, что происходит.

Стены домов на улицах, как театральные тумбы афишами, впритык одна к другой, были заклеены прокламациями. Доблестный командующий округом полковник Полковников, не уставая — да разве бумажками это сделаешь! — не уставая, призывал народ к «спокойствию». Ну что ж, может, он Рахью и успокоит? Чего там излагает командующий такими крупными буквами?

«Приказываю всем частям и командам оставаться в занимаемых казармах впредь до получения приказа из штаба округа.

Всякие самостоятельные выступления запрещаю.

Все офицеры, выступившие помимо приказа своих начальников, будут преданы суду за вооруженный мятеж.

Категорически запрещаю исполнение войсками каких-либо приказов, исходящих из различных организаций...»

Ну что ж, если противник нервничает, это не так уж плохо. Только зачем издавать такие дамские приказы? Так ведь обывателя можно и испугать. Значит, не только солдатам — это уж как водится, — но и офицерам уже не доверяете, господин Полковников! На весь Петроград трубите о «различных организациях». Ведь здесь и младенцу ясно, на что намекаете: Военно-революционный комитет и Петроградский Совет разослали во все части комиссаров, без согласия которых ни одна часть не выступит из казарм. Суровые у вас обстоятельства. Так ведь можно и без должности остаться. Ну ничего, он, Рахья, поднажмет, побегаёт, постарается все, господин Полковников,

так организовать, чтобы нервов вы своих не тратили, а скорее меняли место работы.

И челнок снова замельтешил по Петрограду. Идет по Петрограду еще совсем не старый, тридцатидвухлетний господин, чисто и аккуратно одетый, в пиджаке и даже в котелке. На все смотрит, никому не мешает, встречает иногда знакомых, переговаривается, спрашивает новости. Очень благонамеренный господин.

Возле красного здания Главного штаба рой автомобилей: приезжают, уезжают. Выскакивают офицеры, придерживая шашки, вбегают в высокий подъезд. Через арку с летящей над ней шестеркой бронзовых коней с грохотом проскакали батареи юнкерской артиллерии, выстроились перед Зимним дворцом. На углу Морской и Невского солдаты останавливают все частные автомобили: «Пожалуйста, слазьте, собственники». Надо бы спросить, за кого солдаты: за Временное правительство или за Военно-революционный комитет? И у Казанского тоже высаживают. В самом центре столицы! Похоже, Временному правительству припекает. А у матросов, которых тоже что-то стало на Невском многовато, спрашивать, за кого они, и не надо. Здесь все ясно. А уж если на ленточках у матросов «Аврора» и «Заря свободы» — названия самых разбольшевистских крейсеров флота, — значит, Кронштадт идет! А Кронштадт — он, Рахья, хорошо знает эту публику, сам родом оттуда, с низенького, тонущего в волнах моря острова, — а Кронштадт означает 25 тысяч матросов-большевиков, эти не подведут.

Не самые плохие новости принесет он, Рахья, сегодня на Сердобольскую. Вот, кажется, и еще одна: вышел «Рабочий и солдат». Толпа с боем облепила киоск. Сюда и не прорвешься. Через чье-то плечо Рахья заглядывает в первую страницу, набранную крупно:

«СОЛДАТЫ! РАБОЧИЕ! ГРАЖДАНЕ!

Враги народа перешли ночью в наступление. Штабные корниловцы пытаются стянуть из окрестностей юнкеров

и ударные батальоны... Замышляется предательский удар против Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов... Военно-революционный комитет постановляет...»

Значит, все определилось: сила на силу. Он, Рахья, знает, кто пересилит...

И на расширенное заседание ЦК, как всегда, шли вместе, на углу Муринского и Болотной встретили Шотмана. Вечерело, ветер гнал низкие облака. Он, Рахья, пошел вперед, чтобы все осмотреть. За невысоким заборчиком стояла с затейливыми башенками и террасами большая, рубленая из бревен дача. Все правильно, приметы сходились: именно здесь, в помещении Лесновско-Удельнинской районной думы, председателем которой в то время был Калинин, и должно было состояться заседание. Эйно Рахья обошел дом вокруг: парадный подъезд, сзади дома крылечко и узкая дверь — ход для прислуги, черный. Договаривались так: когда все соберутся, Рахья и Шотман еще раз все осмотрят и только тогда вместе с товарищем Лениным поднимутся сразу на второй этаж в комнату собрания.

Все тихо, шесть часов. Теперь очередь Шотмана идти проверять. Он, Рахья, начал нервничать, когда Шотман, вернувшись, сказал, что надо погулять: товарищи еще не все собрались. Владимир Ильич ругался по поводу неаккуратности ответственных товарищей. Но дело понятное: многие должны были приехать с заседания Петербургского комитета РСДРП (б), назначенного на шесть вечера в то же воскресенье...

Пошли гулять. Хорошо, что в Выборгский район редко заглядывала филерская шпана Керенского — боялись. Искося Рахья поглядывал на шагающего между ним и Шотманом спутника. Керосиновые фонари светили редко, и все же: можно узнать или нельзя? Шляпа, сивоватый парик, твердо очерченное лицо. Ничего, сойдет, по внешнему виду в Петрограде таких тысячи. Скорее бы собрались.

На втором этаже занавешены окна. Еще не входя в комнату, товарищ Ленин снял парик — это тоже было оговорено, — открыл дверь. Лица Рахье в большинстве известные. Все сгрудились вокруг, улыбаются, жмут руки. И тут же брат — Иван, Ваня...

Проходная комната. Стол в углу возле печки, разнокалиберные стулья, возле окна лавка, на стене телефон. Наметанным взглядом Рахья прикинул: члены ЦК, представители Петербургского комитета, «военки» — Военной организации при ЦК, большевики из Петроградского Совета, большевики с фабрик и заводов — в основном люди Рахье знакомые.

Ах, как ему хотелось тогда все послушать, запомнить, что говорят...

Товарищ Ленин сел в конце комнаты на табуретку, вынул из кармана исписанные своим мелким почерком листки, по привычке поднял руку, чтобы поправить парик, спохватился, улыбнулся.

Председательствующий Свердлов сказал:

— Слово имеет товарищ Ленин.

Как веско и торжественно упали тогда среди всех этих много лет борющихся за революцию и социальную справедливость людей первые слова товарища Ленина, что на-зрел момент, когда перед партией стал ребром вопрос о захвате государственной власти. Как подробно, ясно и доказательно обрисовал товарищ Ленин положение дел в стране. Сказал то, что он, Рахья, чувствовал и понимал, но вот с ф о р м у л и р о в а т ь, высказать так убедительно и ясно не мог. Товарищ Ленин говорил о несомненном сочувствии огромной части рабочего класса большевикам, приводя результаты голосования в городские и районные думы в Питере и в Москве. Говорил, что из событий на фронте и в тылу ясно видно, что армия воевать не хочет, но мир стране может дать только пролетарская власть. Многочисленные случаи разгрома помещичьих имений свидетельствуют, что крестьянство больше ждать с землей

не будет, а дать ее крестьянам может только пролетарская власть...

Вот оно! Пролетарская власть! И он, Рахья, вслушиваясь в голос товарища Ленина, представляет эту власть, и ему бы слушать и слушать, но он, Рахья, знает свой долг. На нем и охрана. Обойти здание, комнаты, спуститься вниз и снова подняться и слушать... Товарищи один за другим вставали и рассказывали о положении на местах. Говорили, что сил немного, что опасно проводить такой эксперимент, как взятие власти. Даже Шотман — он, правда, человек осторожный — сказал, что хотя настроение среди рабочих и солдат хорошее, приподнятое, боевое, но оружия не хватает. Войска Керенского могут нас разбить, поэтому его мнение склоняется к тому, что власть брать пока нельзя, надо подготовиться. Товарищ Ленин даже сказал: «Шотман хорошую произнес речь, толковую, но только начал за здравие, а закончил за упокой». Все хохотнули. А потом уже говорил товарищ Ленин. И тут Рахья, уже, правда, привыкший к тому, как товарищ Ленин выступает, как неожиданно думает, удивился: ведь на основании тех же самых докладов сделал товарищ Ленин вывод, что власть надо взять, что мы ее можем взять и удержать — у нас именно теперь особенные шансы удержать власть. Политически восстание назрело, и надо всесторонне и усиленно готовиться к нему. И по крайней мере ему, Рахье, все было ясно и понятно. Волновался ли товарищ Ленин тогда? Он, Рахья, как-то этого не заметил. Ленин ходил по небольшой комнате, может быть, жестикулировал больше, чем обычно. Когда проголосовали, стало ясно — вопрос ОВВ решен. «Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК *, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленной подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Центральным Комитетом центра

* Резолюцию от 10 октября.

и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления».

Девятнадцать — за, двое — против, четверо воздержались.

Они возвращались вдвоем вдоль трамвайных путей. Шел дождь. «Я ведь теперь им обоим руки не подам», — внезапно сказал товарищ Ленин. И тут он, Рахья, спросил: «Да стоило ли так долго спорить?» И товарищ Ленин сказал, что не провести восстание в кратчайший срок — это упустить благоприятный момент для взятия власти, что означает продление всех безобразий буржуазии, может быть, на много лет. Может, тогда же, в хмурое утро понедельника, он, товарищ Ленин, и решил написать «Письмо к товарищам», которое последние дни печатал «Рабочий путь». Он, Рахья, прочел его с большим удовлетворением и понял — победим!

В киоске газет уже не было, стояли только одни брошюры. Рахья пригляделся и своим цепким, зорким взглядом выловил одну: Н. Ленин. «Удержат ли большевики государственную власть?» Похоже, что это уже следующий вопрос после ОВВ. Удержим, научимся. А пока ему, Рахье, надо разузнать, как там на Центральном телеграфе и телефонной станции.

Маргарита

...С обычными предосторожностями Маргарита закрыла входную дверь. Сколько раз сегодня она ездила на Сампсониевский в райком? Четыре, пять? Тем не менее она заставила себя повторить весь ритуал «выхода» и мельком подумала: как хорошо, что приучила себя к аккуратности, — вот в такие минуты, когда перестает работать инстинкт самосохранения, помогает привычка. На лестнице было темно, только скупое, чуть пробиваясь снизу, раз-

бавляли темноту керосиновые фонари, их было два на лестнице — между первым и вторым этажами и третьим и четвертым. Маргарита искала по карманам, в сумочке: спички, которые она неизменно брала с собой, когда выходила вечером, чтобы ориентироваться в темном подъезде, на этот раз были позабыты. Ну, конечно, она их положила возле керосинки.

...Часов около шести она наконец-то добралась до дома от Девриена. Гренадерский мост был свободен, хотя и охранялся усиленным нарядом: чьи солдаты, «свои» ли, «чужие», Маргарите раз узнавать было некогда. Она уже привыкла, что все сведения, которые ей кажутся заслуживающими внимания, надо приносить в райком. А мозг беспокоило сейчас одно: разведенный Николаевский, стриженные «ударницы», гарцующие на конях.

В райкоме всегда собранная Женя Егорова выслушала Маргариту и сказала спокойно, как бы беря на себя ответственность за принесенное ею известие: «Не волнуйся, я уже об этом знаю. Возьми почту и езжай домой».

Войдя в квартиру, Маргарита сразу же поняла, что вся их тщательно налаженная конспирация полетела к черту. Они же договаривались, что в ее отсутствие жилец не будет расхаживать по коридору, нижние соседи уже давно привыкли, что когда Маргарита работает, то в столовой ходит из угла в угол, но ведь не по коридору. Она отдала газету, которую ей передала Женя Егорова, записки и, не раздеваясь, только пройдя в столовую и прикрыв дверь, начала говорить о Николаевском мосте. Он внимательно все выслушал, одновременно проглядывая почту, но решение у него, видимо, было уже готово. Он, наверное, знал или Женя сообщила ему это в записке, что утром, сразу же после известия о закрытии «Рабочего пути», собрался ЦК и постановил, чтобы все его члены неотлучно находились в Смольном. Он хотел быть вместе с товарищами. Да, конечно, план восстания, вооруженного, построен по его замыслу и им лично во время встреч за последние

дни — вернее, вечера — с членами ВРК проверен и выверен, но слишком много он вложил в это дело своей жизни, он сейчас рвется на поле этого последнего, решительного боя. Он знает себя, знает, что его решимость, убежденность и твердость, его знания и авторитет теоретика, руководителя, революционера — все это нужно сейчас партии, его товарищам в Смольном. Они, конечно, боятся за его жизнь. Но восстание не игрушка, и начав его — а оно начато — нужно делать следующие и следующие шаги! — начав, надо вести к победе. Решительность, решительность, решительность. Он нужен в Смольном. И он говорит: «Маргарита Васильевна, поезжайте сразу же в райком. Я считаю, что я должен быть в Смольном. Передайте им это».

В райкоме Маргарита передала слова Ленина Жене, и Женя, быстро взглянув на Дядю, сразу же ответила «нет»: на основании решения ЦК и по его прямому указанию она не может дать разрешения. Маргарита вышла из комнаты вместе с Надеждой Константиновной. И даже немного была задета, что та не принимала никакого участия в только что состоявшемся разговоре, не утерпела, сказала вслух: «Что же он теперь будет делать?» И по лицу Надежды Константиновны поняла: он решит сам.

Домой Маргарита вернулась быстро, передала записку из райкома и, скинув пальто, пошла на кухню. События не должны были отменять обеда. Она приготовилась было растопить плиту и тут внезапно обнаружила: в дверях кухни стоит ее жилец. «Бросайте, Маргарита Васильевна, всю готовку, надо отвезти записку в райком».

Как всегда, на трамвай — Маргарита знала это по опыту — надежд было мало, по молодой трамвайной ветке, проведенной только в четырнадцатом до Политехнического института, вагоны ходили редко. По трамвайным линиям гулял ветер, разгоняя опадающие листья. К ночи похолодало и подсушило остатки утреннего мерзкого сеющего дождя.

На углу Сердобольской и Сампсониевского стоял извозчик, карбидные фонари по бокам пролетки светили тускло, неровно. Маргарита взглянула было в его сторону, но пересилила себя, свое нездоровье, желание покойно откинуться на мягких кожаных подушках экипажа и терпеливо принялась ждать.

От Удельнинского парка, от Лесной академии доносился запах прели. Где-то вдалеке возле зимних дач брехали собаки. Почти сельская глушь, окраина. В вечерний час здесь даже страшновато. Но Маргарита знала, что спасение от страха — это не бояться, не думать о страшном. Занять себя другими, более возвышенными мыслями.

Наконец по контрасту нарядный, как рождественская елка, в этой глухой полусельской темноте показался трамвай.

Который раз за последние дни совершает она этот привычный и внешне совершенно неопасный маршрут? Каждый дом по этим улицам узнает ее, вглядываясь в четко очерченный на фоне освещенного окна вагона профиль.

С какого времени у нее началось э т о? Сначала мысль о справедливости, п р о с т о равенстве. В четвертом году в пермской пересылке — коврик она там сплела, милый коврик, который сейчас лежит в столовой у рабочего кресла,— она уже была социалисткой. Но с чего все э т о началось у нее при ее в общем-то благополучном детстве? Может быть, с Льва Толстого? Как-то ей попался ее гимназический альбомчик, в который она вклеивала все, что газеты писали о Льве Толстом. Уже позже, когда минуло гимназическое время, она закончила заполнять этот альбомчик телеграммами со станции Астапово о состоянии здоровья, а потом и о смерти великого писателя. Она вклеивала туда и то, что сначала по всей России ходило в списках и только потом газеты, воспользовавшись так быстро отобранными после революции 1905 года «свободами», успели напечатать. С какой жадностью через много лет она листала пожелтевшие страницы.

Занятыми оказались и газетные заметочки на обратных сторонах высказываний Толстого, на обратной стороне знаменитого газетного текста его письма к царю. Почему так сильно, намертво юношеские впечатления врезаются в память? «На днях на даче г-жи Кшесинской, в Стрельне, состоялся любительский спектакль. Презабавны были имитации. Так, например, г. Александров (балетный артист) изображал балерину г-жу Павлову-2-ю, балетоман Г. Г. танцевал под Преображенскую вариацию из «Пахиты», а г-жа Кульчевская изображала сержанта из новой польки, поставленной в Красном». Одни сидели в тюрьмах, обжигали легкие на морозах в Туруханске и Сольвычегодске, а другие довольствовались вариациями из «Пахиты»...

Так с чего же началось это?

В окнах трамвая проплывала тусклая рабочая окраина. Ну вот, можно и выходить. Знакомая дорожка: дом 62, жилой, доходный, с претензиями на среднюю, упитанную буржуазность. Теперь в широкую низкую арку и сразу же направо в подъезд и на второй этаж. Маргарита предчувствует, что сейчас произойдет.

Сначала к Надежде Константиновне, потом с нею к Жене. Они стоят, две женщины, рядом, настороженные, уже заранее солидаризируясь друг с другом, потому что лучше третьей женщины знают того, вышагивающего сейчас свои мысли в пустой квартире. Знают его доводы и догадываются, что в конце концов он может поступить, как сочтет необходимым. Они стоят перед третьей женщиной, у которой свой долг и свой приказ. Взгляд Маргариты, близорукий и добрый взгляд Крупской и твердый за круглыми стеклышками очков в металлической оправе взгляд Жени. Чтобы не расслабиться, не смягчиться в ответ на чужие доводы, Женя опускает глаза и говорит: «Нельзя. Да что, в самом деле, нельзя, и только. Нельзя». Для Жени Егоровой он — вождь, для Жени он — партия, ее надежда и победа. «Н е л ь з я».

Один раз всего она, Маргарита, видела его в ярости — это после статьи в «Новой жизни», когда «штрейк-брехеры» партии практически выболтали точную дату восстания, когда в ответ на эту неожиданную услугу Временное правительство, дабы успеть справиться до открытия съезда Советов — юристы, адвокаты, образованнейшие люди, законники, они понимали конституционные права этого съезда, — дабы успеть справиться с народом — опыт 4 июля имелся и вдохновлял! — Временное правительство и эсеро-меньшевистский ЦИК передвинули съезд. Теперь Маргарита увидела его в холодном до ледяного спокойствия внутреннем раздражении. Он прочел ответную записку. Что они трусят и медлят!.. И снова его рука бежала по бумаге. Написал. Оторвал написанное от листа, подал Маргарите: «Прошу вас, Маргарита Васильевна, съездите еще раз в райком. Я вас буду ждать ровно до одиннадцати часов. Если вы не приедете к этому сроку, то я волен буду поступать так, как сочту необходимым и нужным...»

...С обычными предосторожностями Маргарита закрыла входную дверь. Внизу на улице уже стояла густая ночная тишина. По-прежнему, сколько ни вглядывайся налево, в сторону Политехнического, трамвая все нет и нет, но извозчик на углу Сампсониевского и Сердобольской все еще ожидал седока. А может быть, это был другой извозчик? Карбидные фонари горели хотя и неровно, колеблемые порывами ветра, но уютно и заманчиво, обещая мягкую подушку для пассажира и убаюкивающие качания по булыжникам мостовой. Маргарита — она давно с молодых самостоятельных лет выбила из себя барскую привычку ездить в отдельном экипаже: дорого, раз, два — и смотришь, нет половины денег на хозяйство, — Маргарита пошла было к трамвайной остановке, заранее уговаривая себя быть терпеливой, но скопившаяся с раннего беспокойного утра свинцовая усталость была так велика, что Маргарита не выдержала ее натиска и,

махнув рукой на образующуюся в бюджете прореху, решительно села в пролетку.

И опять все повторилось, как и в прошлые разы. Женя даже рассердилась на Маргариту: «Н е - л ь з я». «Ну почему же нельзя? — хотелось крикнуть Маргарите. — Неужели вы не понимаете, что он все же сам примет решение? Если он будет уверен, что для дела революции надо поступить именно так, то он уйдет. Один, без охраны, без страховки. И опасность тогда неизмеримо возрастет». Маргарита ничего не сказала, но что-то в ее глазах, видимо, блеснуло, и Женя, уже мягко сняв свое раздражение, сказала просто и мило, как умела говорить, с мудрой всеопытностью, несмотря на свои двадцать пять лет: «Пока н е л ь з я, Маргарита». Они внимательно с прежней обычной приязнью посмотрели друг на друга, две смертельно уставшие женщины, и обе улыбнулись, поймав себя на общей мысли. Женя подумала, что сегодня ночью наверняка еще раз встретит Маргариту. А Маргарита сказала себе: «Наверняка мне опять ехать в райком».

Константин Петрович

Он, наверное, как никто, понимал смысл принесенного Маргаритой известия. Разводят мосты! Знакомо. В ночь с 4 на 5 июля все мосты через Неву, кроме Дворцового, по распоряжению военных властей были разведены. Контрреволюция действует по тому же стереотипу. Отделить центр от рабочих окраин, от солдатских казарм. Разбить, обескровить по частям. Это решительный шаг Временного правительства, но это и понимание врагами момента: значит, осознают грозную силу на Васильевском, на Выборгской, на Охте, на правом берегу Невы. Значит, в свою очередь, действовать надо быстрее, форсировать готовые планы. «Благоприятный момент» наступил. Такими мгновениями история не разбрасывается. Волна

революционного подъема достигла высшей точки. Противник может перегруппироваться, собраться с силами. Или сейчас или... Он правильно сказал Рахье: может быть, даже через сто лет. В недрах министерских кабинетов с молчаливого согласия или попустительства выкрашенных чуть розовым, а по сути дела, буржуазных или мелкобуржуазных политиков вызревает новый корниловский заговор; чтобы задушить революцию, сбить ее верхний вал, правительство готово отдать немцам даже Питер. Понимают ли это товарищи? Не медлят ли? Не слишком ли много рассуждают вокруг? Время не рассуждений и теоретических споров, а действий. Вера в Учредительное собрание, надежда «быть сильной оппозиционной партией» — это наивно-утопический взгляд. Думать, что в стране всеобщего избирательного права наш противник будет вынужден нам уступать на каждом шагу, — и думать-то не по-марксистски. Еще Энгельс с полнейшей определенностью называл всеобщее избирательное право оружием господства буржуазии. Все зависит, в чьих интересах, какого класса, будут крутиться жернова государственной машины. Не колеблется солдат, уже почти 40 месяцев умирающий во вшивом окопе, полуголодный рабочий в кузницах артиллерийских заводов. Народ не колеблется, когда доверяет власть большевикам в Петроградском и Московском Советах. Государственную власть надо брать до созыва Всероссийского съезда Советов. Недаром правительство отложило его открытие с 20-го на 25-е. Рассчитывает за сегодняшний и завтрашний день справиться и с народом и с большевиками. Съезду придется голосовать под ружьями и нагайками казачьих полков. Правительство знает: его «демократия» умеет служить своему классу. Чтобы не откатиться на сто лет и не потерять все, осталась сегодняшняя ночь. Как же он сегодня, сейчас, немедленно нужен в Смольном! Колебания были и на заседании на Болотной улице. Он потратил ночь, чтобы объяснить

и свою точку зрения. Но как прекрасно говорили другие. «Вода достаточно вскипела... Настроение в полках поголовно наше...» — это Крыленко. «Если бы питерский пролетариат был вооружен, он был бы уже на улицах... Массы ждут лозунга и оружия» — это Иван Рахья, брат Эйно. Младший брат. Решительные оба, молодцы.

Он уверен в товарищах. В конце концов, он сам встретился с членами Военно-революционного комитета. И тогда же, 16-го, сразу после расширенного заседания в Лесновско-Удельнинской районной думе, — с членами созданного Военно-революционного центра: Бубнов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, Урицкий, — ставшего руководящим ядром ВРК. Антонов-Овсеенко, Невский, Подвойский — руководители «военки». При встрече и разговоре с ними он еще сказал: «И учтите, пожалуйста, больше всего мы в своей борьбе должны рассчитывать на рабочих». Да, каждый из них сделает все, что может. Каждый из них понимает, что, комбинируя наши главные силы, флот, рабочих и войсковые части, непременно должны быть заняты и любой ценой удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову. Сил достаточно для решительного перевеса в решительном месте. Он верно сказал. Теория смыкается с практикой. Лозунг «Вся власть Советам!» теперь равносильно призыву к восстанию.

Он зря волнуется, товарищи не медлят, товарищи действуют. «Техническая сторона» подготовлена. Ему надо успокоиться. Но он знал, что успокоиться не сможет.

Все, что смог, он сделал и постарался сделать сам, чтобы не упустить никакой политической или технической мелочи. Он сделал все, что было в его силах. Жил на конспиративных квартирах, но не был отрезан от партии, встречаясь с товарищами почти ежедневно. И еще раз он перебрал в памяти: 10 октября — заседание ЦК на набережной Карповки, 14 октября — совещание с членами ЦК на квартире машиниста Ялавы, и еще

встреча в эти же дни с членами ЦК на квартире Калинина, встреча с посланцем Московского комитета партии Пятницким. В ночь с 15-го на 16-е октября — расширенное заседание ЦК с представителями ПК, «военки», большевистской фракции Петросовета, фабзавкомов, профсоюзов...

Они, большевики, знают, что делать с победой. Восстание под знаменем Советов, овладение властью и передача ее съезду Советов. Здесь — узел, диалектическое единство. Военно-революционный комитет при Петроградском Совете — легальный центр для объединения сил революции. Основное — победа восстания. Военно-революционный комитет служит этой, и только этой, цели. Он, Ленин, точно сформулировал это Подвойскому и еще подчеркнул, что ни под каким видом не следует допускать ни малейшей тени диктаторства Военной организации в Военно-революционном комитете. Это демократия сильной и уверенной в своих идеях партии. Демократия народной партии, а не заговорщиков.

В квартире уже давно стемнело. Он зажег лампу в своей комнате — с вечера Маргарита всегда заправляла лампу керосином из бутылки, стоящей в недрах прихожей, и чистила стекла — свет сразу же выдвинул вперед предметы обстановки, ставшие привычными за недели жизни. Стол, этажерку, куда он вечерами аккуратно, чтобы, если нужно, найти, складывал исчитанные газеты, умывальный стол возле двери с фаянсовым тазом и кувшином, кровать, так хорошо знакомую с его бессонницами, и кушетку-топчанчик, которую поставили для Надежды Константиновны. Ведь совсем рядом, несколько остановок трамвая, а будто на другой планете. Не может лишний раз прийти, чтобы не дай бог не привести за собой «хвост». Скитается по родственникам, по углам. Он до боли реально представил ее в неизменной белой ситцевой или батистовой в полоску блузке, ее мягкий взгляд. Родной, понимающий его с полуслова человек.

Всегда в самую трудную минуту рядом. Ему на мгновение страстно захотелось, чтобы сейчас раздался условный звонок в дверь... Нет, это невозможно, и он и она знают, что важнее ее присутствие там, на Сампсониевском. Через нее идет почта, его записки. Там, в большой вольной жизни, сегодня, сейчас нужен каждый преданный и верный человек. А ведь встретились впервые на «блинах». Могли не встретиться? Не могли. Нет, он все же счастливый: еще в юности выбрал дело, которому по душе смог отдать жизнь, и прошел ее рядом с человеком, который понимал и разделял его взгляды. Такой судьбы можно пожелать любому. Разве постоянно — вот и теперь — он не чувствует глубокой и сильной духовной связи с ней? Сейчас она, наверное, уже разговаривает с Маргаритой. Какой ответ принесет ему Маргарита? Неужели о н и не понимают, что он нужен в Смольном? Теория проверяется практикой, и в революции наступает момент, когда нравственный долг ее теоретика — стать руководителем-бойцом. В момент, когда может и должен рухнуть этот излищный, изовравшийся мир.

По насыпи в сторону Петрограда прошел, прогудев на Ланской, поезд.

Мир с установившимися в нем законами не должен разъединять людей. Мы наш, мы новый мир... Как долго живут, приобретая новую остроту, юношеские потрясения в человеческом сердце. Тогда, в Симбирске, они только что получили известие об аресте Саши. Мама сразу собралась ехать хлопотать. Да, поезда тогда из их родных мест еще не ходили. Он, семнадцатилетний, стал мотаться по городу в надежде найти матери попутчика в зимнюю санную дорогу. Но город уже знал об известии из Петербурга. А ведь их семью в городе любили. Милые, сочувствующие ближнему в обычной жизни люди заикались, придумывая неубедительную ложь, чтобы только не ехать с матерью «государственного преступника». Какая же острая заноза вошла тогда в сердце. Как недавно это

было... И вот уже он, сорокасемилетний человек, ставит вопрос: удержат ли большевики государственную власть?

Для серьезного аналитика, для социолога, для марксиста все очевидно. Да, удержат. Обывательская точка зрения иная: пролетариат не сможет ни технически овладеть государственным аппаратом, ни привести его в движение в сложной политической обстановке. Но он-то, публицист Ульянов, признанный вождь пролетариата, ощущал веление времени. Знал даже тогда, когда внешне все было спрятано, закрыто, как река льдом. Еще на Первом съезде Советов, 4 июня, в ответ на речь министра почт и телеграфов меньшевика Ираклия Церетели, когда тот заявлял: «В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите — мы займем ваше место. Такой партии в России нет», он, Ленин-Ульянов, крикнул с места: «Есть!» Есть партия, которая не только смогла бы взять власть, но и удержать ее. Только за последнее время он говорил об этом с Иосифом Пятницким, с Александром Шотманом.

Государственная машина всем казалась огромной, невероятно сложной в управлении, чиновники недоступными, людьми из другого мира, слепленными из другого теста. Если после пятого года Россией управляли 130 тысяч помещиков, то почему же не смогут управлять 240 тысяч политически сознательных рабочих, крестьян, солдат — членов партии большевиков? А широкое, активное привлечение трудящихся, бедноты к повседневной работе управления государством? И разве может быть иной путь к обучению народа управлять самим собой, как путь практики? Как приступить к настоящему народному самоуправлению? Он многое сказал товарищам. Он недаром называет себя публицистом: это его долг — внести вызревшую идею в сознание масс.

Нет, он так и не смог отвлечься, не думать со всей страстью о том единственном, что по-настоящему зани-

мало его всю жизнь и что именно сегодня из теоретических предпосылок и дьявольски трудной, тоже на всю жизнь, работы пропагандиста и агитатора, организатора и теоретика могло, должно было реализоваться, разрушив мир старый, заменить его миром новым, о котором тысячелетия мечтали философы и человечество. Нет ему сегодня покоя.

Он прошел в большую комнату, в столовую, хотя в отсутствие Маргариты старался бывать там реже, и зажег лампу. Ровный и сильный свет, выбившись снопом из-под абажура, залил комнату. Обеденный стол, застеленный всегда свежей хрустящей скатертью, рабочий стол Маргариты, книжный стеллаж. Даже книги не привлекли его в эту минуту. Мозг лихорадочно работал, суммируя, сопоставляя немногочисленную информацию о сегодняшнем дне и то, что он давно запланировал, о чем уже говорил товарищам, и что слышал от них в ответ, и на чем настаивал. Огромный город лежал за стенами квартиры. Обостренными нервами он чувствовал, что в городе происходит, известные и давно определенные грозные силы подкрадываются друг к другу, чтобы сшибиться в последней схватке, две волны. В самом воздухе, казалось, разлито напряжение. Он пытался в уме рисовать картины действий, которые должны были разворачиваться в соответствии с тем планом, который он уже продумал и обсудил с товарищами. Но слишком много поставлено на карту. Картины получались бедными и почему-то изобиловали теми же ошибками, которые делали в свое время французская революция и родной пятый год. Он знал, что эти ошибки существуют лишь в его воображении. Его товарищи по партии, руководители восстания — талантливые марксисты, прекрасные организаторы, сумеющие провести корабль революции через рифы, знающие мели и опасные места, которые могут подстеречь. Но все же скорее бы приходила Маргарита... Если бы хоть какие-нибудь уте-

шительные сведения. В городе нервничают, думают о нем, волнуются за него жена, сестры. Думают и не решаются, боясь за его жизнь, прийти, чтобы положить родную прохладную руку на лоб, чтобы молча, понимая друг друга до конца, до донышка души, посидеть рядом. И еще двоих, ставших внезапно близкими и необходимыми людьми, он теперь постоянно должен держать в сознании: Маргариту и Эйно. Два человека со скромными, лишь человеческими силами, сейчас, в критический момент, забывая о себе, выполняют его волю. Он представляет, как движутся они сейчас по темным и враждебным городским окраинам. Они, кажется, и не знакомы между собой. Всегда, открывая дверь Финну,— эта кличка все, что Маргарита знает о Рахье,— она надевает платок. Да и Эйно в разговоре как-то назвал Фофанову «старухой». А они почти ровесники. Два в общем-то еще молодых человека где-то сейчас пройдут, не узнав, мимо друг друга.

А время подошло, Маргарите Васильевне уже пора и возвращаться. После целого дня беготни, через враждебную ночь одна, без провожатого, женщина торопится, чтобы принести ему известие.

Наконец в дверях поворачивается ключ...

Забыв, вернее пренебрегая всякой конспирацией, он выходит в коридор. Свет из дверного проема освещает расстроенное, измученное лицо Маргариты, и уже по этому лицу он понимает, что она не принесла ему утешительных вестей. И все же... Он протягивает руку за запиской из райкома. Опять! Центральный Комитет, точнее, Выборгский райком от имени Центрального Комитета не разрешает ему покидать конспиративную квартиру. Разве он всю свою сознательную жизнь не говорил о дисциплине?! Она цементирует партию, организует ее. Но теперь другое. Есть решения, которые подлежат пересмотру на основании опыта жизни. Здесь речь идет о жизненно важном для всей партии деле. У осторожности тоже

есть свои рубежи... Он прекрасно понимает свою роль в партии, но он понимает и то, что дело, за которое он борется, больше его жизни, за дело он может и при необходимости должен отдать жизнь.

Он смотрит на белое, почти без кровинки, лицо Маргариты и, как в детстве перед прыжком в воду, полной грудью вбирает в себя воздух, только тогда деликатно, но твердо и решительно говорит:

— Маргарита Васильевна, надо еще раз съездить в райком. Я напишу письмо.

Лампа в его комнате не коптила, керосин был чистый, хорошо отогнанный, не шипел, не потрескивал на фитиле, лампа горела ровно, мощно и настойчиво. Он сел за стол, придвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чернильницу.

Он любил эти моменты духовной ясности, когда факты, выстроившись в ряд с типично жестокой и отчетливой неколебимостью, рисуют картину действительности. Кризис назрел. Огромная страна ждала новой судьбы. Надо отрешиться от «конституционных иллюзий». Ожиданием Учредительного собрания нельзя избавиться от буржуазии, нужно получить мир. Правительство колеблется. Надо добить его, во что бы то ни стало. Промедление в выступлении смерти подобно. У нас большинство в народе, восстание победит.

Ровно горит настольная лампа, высвечивая золотой круг на столе, бумагу и сильную, уверенную руку. Он обмакивает перо в чернильницу и быстро, без помарок пишет:

«Товарищи! Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс...»

...Он закончил письмо членам ЦК, перечел его еще раз, сложил. Он выполнил свой долг до конца. Он еще раз про себя, в уме перебрал тезисы письма и почувствовал удовлетворение.

Пока он пишет, Маргарита идет в столовую. Не раздеваясь, садится на стул, равнодушно оглядывается. Ничего не тронут: яйца, колбаса, масло в масленке, керосинка холодная. Не ел! Автоматически она открывает сумочку, достает спички и как укор и напоминание кладет их на видное место.

Передавая письмо (Маргарита отмечает что-то новое в его голосе), он говорит:

— Я жду вас, Маргарита Васильевна, с ответом до одиннадцати часов, а потом волен поступать, как сочту необходимым и нужным.

И снова он один в пустой квартире. Давно ли ушла Маргарита? Недавно ли?.. Даже дом будто замер, затих.

В дверях раздался быстрый звонок. Он не шелохнулся, он ждал второй, условный. Он все время, каждый миг ждал известий. А звонок — это всегда известия.

Он ждал. Несколько дней назад кинулся на первый же звонок, не ожидая второго, узнав, как ему показалось, руку Рахьи или Крупской. Почти не остерегаясь, он сделал несколько шагов по коридору, но второго, условного звонка не последовало. Он на цыпочках отступил в глубь квартиры, и тут раздался второй, определенно чужой, длинный, настойчивый, требовательный звонок дверной вертушки. И потом стук в дверь... Кто?

К счастью, подоспела Надежда Константиновна. Она сумела убедить какого-то то ли дальнего родственника, то ли просто знакомого Маргариты в том, что в квартире никого нет, что юноше слышались шаги за дверью, что по меньшей мере смешно звать дворника, созывать соседей и вообще ставить себя в смешное положение. Лучше зайти к Маргарите Васильевне в другое время, попозже. Тогда все закончилось хорошо. А могло быть иначе.

Он дождался второго звонка и пошел открывать. На пороге стоял Эйно Рахья.

Никогда с такой жадностью он еще не расспрашивал. Даже в момент подготовки Второго съезда, когда к ним в Женеву среди делегатов, профессиональных революционеров приехало трое рабочих — Шотман, Степанов, Никитин по кличке Андрей. Все из крупных рабочих центров — Петербурга, Тулы, Киева. Как же он тогда «пытал» их, уже несколько лет находясь без непосредственного, личного контакта вдали от родины, как же он тогда «пытал» их своими вопросами. Чтобы больше быть с ними и больше от них узнать, ходил на экскурсии в окрестности, показывал город, встречался за чаем, подолгу разговаривал во время съезда. Эти люди несли с собой подлинное дыхание жизни, которое не заменят ни переписка, ни газеты. Не расспрашивал он никого с таким жаром, и когда в Белоострове, на границе, в недавнем апреле, вернувшись из эмиграции, встретил на станции своих единомышленников-большевиков. Сколько же было переговорено в тесном купе, пока поезд пробежал недалекий путь до столицы, где его ждали рабочие Петрограда. И все же ни один человек, наверное, и тогда не подвергался такому шквалу вопросов, как в этот вечер Рахья.

Рахья сидел напротив него за столом в большой комнате и рассказывал о мостах через Неву, о том, какими маршрутами он ходил по городу, о ленточках «авроровцев» на Невском, о женском батальоне, о поленице дров в виде баррикады перед Зимним. И видя, как у сидящего напротив него человека разгораются глаза, Рахья чувствовал себя нужным. Очень. День, старательно расчерченный его шагами по петроградским мостовым, оживал в сценах и сценках. И их значение, он видел, быстро определял Ильич. Но в какой-то момент Рахья вдруг увидел, что глаза его собеседника замерцали каким-то иным, сосредоточенным на своих собственных мыслях и выводах светом. Рахья замолчал, оборвав фразу на полуслове, и через мгновение,

как бы вынырнув из толщи своих мыслей, товарищ Ленин снова вернулся в эту комнату, за этот стол, накрытый скатертью, и деликатно, почти виновато, улыбнувшись, сказал...

Рахья

Смелый, даже отчаянный человек, Рахья по-настоящему испугался: сейчас идти вдвоем через весь город в Смольный! По улицам, полным патрулей и переодетых филеров! Разве он испугался за себя?

И не на такой личный риск Рахья иногда шел. Нездаром за последнее время из дома не выходил без двух заряженных револьверов. Жена Лююи все последнее время над ним, Рахьей, подтрунивала: «Ты, Эйно, не человек, а ходячий арсенал». Так что же, если надо, он, Рахья, не отстреляется, не отобьется, не заслонит? И все же хотя бы втроем, вчетвером, вместе с Шотманом или Емельяновым, с которыми шли они, выводя к станции товарища Ленина из Разлива. А здесь... И про себя измерив и просчитав всю величину своей ответственности, Рахья испугался, даже замямлил что-то, дескать, не следует так скоропалительно пускаться в путь, надо дожждаться утра, даже приплел, что погода ветреная... Но, вглядываясь в лицо своего собеседника, во внезапно сузившиеся в холодном решительном блеске карие глаза над крепкими, широкой рубки скулами, понял, что не принимает этот бесстрашный человек никаких его осторожных доводов, не принимает его рассуждений и поступит так, как сочтет необходимым для себя и для того дела, которому они оба по-своему служат. Разве ночи, патрулей, солдат боится Рахья? Патруль можно обойти, кордон — миновать, ночь — она помощница тем, кто смел. Рахья, как опытный, много видевший подпольщик и конспиратор, боится только случая.

...Тогда, 10 октября, после заседания ЦК на набережной Карповки, они поздно ночью вышли на улицу. Лил дождь. Еще в передней Дзержинский отдал невысокому человеку в сивоватом парике и чужих, с простыми стеклами очках свой плащ. Город, ночь, возможные проверки документов. Он сказал: «Пойдемте в Певческий переулок, это здесь, рядом, на квартиру к Лююи». Они прокрались длинными коридорами рабочей казармы в комнатуху Лююи. Как и после Разлива на квартире у Эмиля Кальске, легли на пол на раскинутые газеты и ветошки. На койке спала Лююи, а на диванчике ее брат Володя. А утром в доме началась облава. Они притаились и послали Володю на разведку. Искали каких-то уголовников и вроде бы быстро нашли. А если бы? Если бы не нашли и стали прочесывать дом сверху донизу?..

Он, Рахья, боится только случая. Непредвиденного и потому вдвойне опасного. И все же н а д о идти. А если надо, то хватит нагонять на себя страхов, Рахья. Если надо, то он принимает на себя всю ответственность, а с ответственностью и власть, управление в этом походе. Пальто — годится, парик — обязательно, никаких вольностей. Если ему, Рахье, не изменяет память, то на фотографии у сестрорецкого рабочего Константина Петровича Иванова была такая же, как парик, прическа. Вот теперь совсем хорошо, точь-в-точь, как на документике. Кепка — очень в стиле, рабочие в основном предпочитают кепку. А если Константину Петровичу Иванову мы еще завяжем щеку вот этой белой тряпочкой? Зуб у него болит, несмотря на беспорядки в городе. И кстати,— Рахья здесь даже сам удивился, какая же у него богатая память на всякие конспиративные кляузы,— кстати, вот вам адресок зубного врача, живущего неподалеку от Смольного. Извольте заучить наизусть. Если Константина Петровича спросят, куда он идет, то Константин Петрович должен назвать адрес. А кто, какой изверг сможет не посострадать зубной боли? Теперь можно идти.

Рахья как бы со стороны окидывает взглядом сестро-рецкого рабочего Константина Петровича Иванова и остается довольным. Лицо спокойное, руки несуетливые, фигура самая рабочая. Взгляд нацеленный, бойцовский, решительный взгляд. Но только взгляд где-то уже там, за Невой, в горящем электрическими огнями Смольном.

Нет, еще одно дело. Глаза рабочего с перевязанной щекой и в кепке вдруг снова возвращаются сюда, в бедноватую, почти студенческую квартиру, он садится к столу и на узкой полоске бумаги что-то пишет. Рахья видит только подпись: «Ильич». Константин Петрович Иванов оставляет записку на тарелке против того места за столом, где обычно сидит Маргарита. Теперь, наконец, можно идти.

Они идут по Сампсониевскому до 1-го Муринского проспекта. На трамвай надежды нет. Их шаги отчетливо раздаются в темноте. И вдруг на перекрестке, притормаживая перед поворотом, их нагоняет трамвай. У Рахьи сразу екнуло сердце — случай! Он мгновенье колеблется и уже по старой любви подпольщика к сумеркам, к безлюдью, к полутеням решает не обременять собой электрическое чудо, но его спутник, замученный зубной болью, так торопится к врачу, так торопится, что не раздумывая, — а может быть, он просто думает очень быстро: скорее в Смольный, в горнило сегодняшних событий, — на ходу прыгает на подножку прицепного вагона.

Они входят в вагон — никого, только томится одинокая кондукторша. Машет на них досадливо рукой:

— В парк вагон идет, в парк, чего вы лезете!

— Нам по пути, — говорит Рахья, — на Боткинской у поворота сойдем.

И тут же его опять охватывает волна беспокойства. Да что, не понимает, что ли, его спутник, что трамвай в эту ночь — не место для расспросов? И тут же он, Рахья, подивился: ну и талант сходиться с простым народом! Кондукторша приняла его уже за своего, кроет

на «ты». Пожилой, с перевязанной щекой рабочий этим вроде и не смущен, подсел поближе, беседует по душам.

У поворота на углу Боткинской они спрыгивают на ходу. И снова двое рабочих идут по улице. С одной стороны — корпуса военного училища, с другой — медицинская академия. Самый опасный участок пути. Рахья прикидывает: один револьвер — в правом кармане куртки, другой — во внутреннем. Незаметно опускает руку в карман. Слышный только ему щелчок. Предохранитель на всякий случай спущен, ручка браунинга быстро нагревается.

Зорким, как у кошки, взглядом Рахья уже видит: впереди, на Литейном мосту, сошлись военные и штатские. Штатские тоже с винтовками, красногвардейцы. Отступить нельзя: здесь и свои и чужие увидят, поинтересуются кто, догонят. Идти только вперед. У штатских лица вроде смутно знакомые — наверное, выборгские. А здесь, оказывается, тоже всюду кипит агитация. И штатские и военные курят из кисетов общий самосад. Распропагандировать можно лишь того, кто хочет быть распропагандированным. Рахья уже глушит шаг: подойти, втереться в общую неразбериху, потолкаться и бочком, бочком дальше. Какая-то упорная сила тянет вперед пожилого рабочего. Лишь бы только не затеял расспросы, думает Рахья и прибавляет шаг, чтобы не отстать. Горячая ручка браунинга срослась с ладонью.

На Шпалерной, когда они прошли кусок этой длинной и опасной улицы, на которой еще совсем недавно, в июльские дни, юнкерами и казаками был убит во время распространения «Листка правды» рабочий Воинов, — вот именно на Шпалерной случай надвинулся на них. Навис, заледенил кровь...

Рахья, наверно, первым увидел двухдвигающихся навстречу верховых. Патруль! Хорошо, что у него, Рахьи, есть с собой два липовых пропуска. Чего-чего, а липовых документов у него достаточно. Собирал, где только мог.

Подчищены, правда, пропуска плоховато, ой, как плоховато. Но ведь ночь, сумерки...

Патруль совсем близко. Рахья делает несколько шагов в сторону верховых, освобождая проход для того единственного, кто должен обязательно пройти, даже если он, Рахья, затеет здесь перестрелку. На тяжелых, сытых лошадях двое молодых безусых юнкеров. Перестрелку, кажется, устраивать еще рано. Здоровым запахом конюшни пахнуло от лошадей. Пропуск? У Рахьи есть старый испытанный прием. Пропуск? Да какой это им еще нужен пропуск? Что за пропуск еще! А в этот момент Рахья, возвышая голос и кочевряжась, словно пьяный, смотрит: его спутник ушел уже вперед метров на двадцать. И тут же решает: если кто-нибудь из этих пышущих здоровьем и молодостью конников погонится за ним, он, Рахья, станет стрелять. Какой еще пропуск! Рахья почему-то видит себя со стороны: просто какой-то наглый петух, орущий на всю чинную Шпалерную улицу. Со стороны даже кажется, что пьяный и занозистый петух. Да и стоит ли с таким связываться? Такие никогда, кроме пьянства, ни в чем предосудительном замешаны не были. Ну, нагайкой такого для острастки протянуть можно. Бузотерит, ершится Рахья, а сам глядит: под гирляндой уличных фонарей все меньше и меньше становится знакомая фигура.

Какой-такой пропуск требуют от рабочего оборонного завода?! Ну, ударь! Ну, затей со мной склоку! Ну, схватись! У господ юнкеров свое представление о смутьянах и большевиках. А что возьмешь с двух работяг, возвращающихся домой после смены? Господа юнкера дали шпоры своим лошадям, взяли их в шенкеля. Умчались ловить смутьянов и большевиков.

Ну, все, вроде уже вошли в свои владения. Впереди, в конце Шпалерной, темной громадой поднимался собор. Теперь через сад — и Смольный. Здесь-то уже, как несколько недель назад в Удельной, когда приехали из Фин-

ляндии, он, Рахья, с чувством до конца выполненного долга сможет сказать своему спутнику: я вас доставил до Смольного, как договаривались, а дальше теперь ведите вы... Через переплетение обнаженных ветвей, сверкая огнями, возникла громада здания, которое, как корабль через ночь, плыло своим, ведомым лишь его спутнику маршрутом. Сейчас он, Рахья, пришвартует к кораблю свою лодочку, посадит на борт под видом пассажира капитана и посмотрит, как потом пойдет по боевому курсу этот корабль. Какими сделаются личики у господ юнкеров, у господ кадетов и меньшевиков. Но и его давняя, Рахьи, борьба с мировой и отечественной буржуазией не заканчивается: он дрался, как мог, даже больше, чем мог. За свое детство в Кронштадте, за отца — столяра и дворника, за себя — кочегара, матроса, чистильщика паровозов. Теперь — вперед, корабль, и он, Рахья, на нем, он твердо уверен: кто был ничем, тот станет всем! А матросы не подведут.

Они подошли к Смольному. Из всех дверей открыт только один вход, и около него творилась какая-то заваруха. Они вдвоем, пожилой рабочий с перевязанной щекой и молодой финн с подозрительно оттопыривающимися карманами, стараясь не терять друг друга в толпе, протиснулись вперед, и, покрутив головой, Рахья даже застонал от ярости: шли-шли, через столько кордонов перебрались, а здесь — он-то, Рахья, знает этих бородатых солдатиков: если этим бойцам революции сказали пропускать с красными мандатами, значит, баста — здесь не пробьешься. Вот он, случай. Коварный и, как любой случай, неожиданный. Конечно, у Рахьи все карманы забиты разными документами. Но кто же мог предположить, что так ловко меньшевики переменили мандаты делегатов Петроградского Совета и «успели» раздать красные вместо белых только своим сторонникам? Большевичков, значит, оставили с белыми. И тут Рахья по-настоящему испугался за своего спутника. Сколько разного народу

толпится здесь у дверей Смольного. Ведь узнают, а он без охраны. Короткий удар в толпе, потасовка, и ведь ни отбить, ни защитить не успеют. Он посмотрел в лицо спутника. Карие глаза глядели сосредоточенно и мужественно. Внутренне он был уже там, за этим непредвиденным барьером. И был уверен, что он уже там, что это временные, преодолимые трудности. И если он уверен, что же Рахья... Что же, он за свою жизнь одну только забастовку возглавил и организовал? На судне, на железной дороге не знал, как организовать стихийное возмущение? Да он вместе с другими «белобилетниками» поднимет сейчас такую невероятную бузу! Словечко одному, словечко, сказанное вроде никому, вроде просто вслух. Забурлило? Запенилось? Дрожжи подошли, сейчас опара поползет вверх. Ну вот... Толпа качнулась вперед. Держись, охрана! Вот так, не выдержала напора, подалась в сторону. И мы вслед за ней и в ее гуще. Он, Рахья, выше поднимает свой белый липовый пропуск и вместе с толпою вдавливается в здание. И все время чувствует, что за его плечом, подпирая его, идет Константин Петрович Иванов, азартно приговаривая: «Где наша не берет».

Рахья и Маргарита

Дальше все хрестоматийно известно. Вечером того же, 24 октября, штаб округа вновь попытался, но так же безуспешно, как и утром, закрыть большевистские газеты. В 9 часов вечера 150 верных революции солдат Измайловского полка заняли Балтийский вокзал. Солдаты 2-го пулеметного полка перекрыли шоссе, не допуская подхода отрядов юнкеров из Ораниенбаума и Петергофа. Революционные части задержали в Выборге 5-ю Кубанскую казачью дивизию. «Уличных выступлений, беспорядков нет,— говорилось в телеграмме полковника Пол-

ковникова, посланной ночью командованию Северного фронта, — но идет планомерный захват учреждений, вокзалов, аресты. Никакие приказы не выполняются».

Приход Ленина в Смольный положил конец еще имевшей место медлительности. К 7 часам утра 25 октября красногвардейцы-путиловцы и солдаты-кексгольмцы захватили телефонную станцию. Под дулами пушек «Авроры», оттеснив юнкеров, был сведен матросами и красногвардейцами единственный разведенный мост через Неву — Николаевский. В руках Временного правительства оставались лишь Зимний дворец да штаб округа.

Ленин из Смольного по телефону, через посыльных торопил со взятием Зимнего дворца.

После того как Временное правительство отказалось капитулировать, по сигналу из Петропавловской крепости был произведен выстрел с «Авроры».

В 22 часа 40 минут в белоколонном зале Смольного открылся Второй Всероссийский съезд Советов.

Около 11 часов вечера революционные войска на Дворцовой площади пошли в атаку. Оттесняя и разоружая юнкеров, наступавшие ворвались во дворец и, очищая от «защитников» комнату за комнатой, добрались до малой столовой, где за длинным обеденным столом сидели вчерашние министры России. В 1 час 50 минут 26 октября они были арестованы и под конвоем отправлены в Петропавловскую крепость.

В 3 часа 10 минут 26 октября ликующий съезд услышал о взятии Зимнего и аресте Временного правительства. А. В. Луначарский зачитал написанное В. И. Лениным обращение к «Рабочим, солдатам и крестьянам!». «Съезд берет власть в свои руки...» — говорилось в нем. Советы стали правительством. Ленинский лозунг «Вся власть Советам!» победил окончательно.

26 октября Владимир Ильич попросил разыскать Маргариту Васильевну Фофанову.

...24 октября Маргарита Васильевна все же успела приехать домой до одиннадцати вечера. Она открыла квартиру и похолодела: темно! Протянув руки, пошла вперед и наткнулась на что-то мягкое и теплое. Хотела было забояться, но и на это сил не было, а потом вспомнила: в прихожей на столике лежал сверток с ватином. Дело было к зиме, и они с Надеждой Константиновной размышляли, как бы «утеплить» Владимира Ильича. Решили купить ватин и подложить его под старенькое пальто. Сделать это вызвалась Маргарита Васильевна, но вот не успела. Маргарита прошла переднюю, вошла в столовую, на ощупь нашла в буфете коробок со спичками, зажгла лампу. А вдруг увидит разгром, следы борьбы? Лампа осветила картину самую мирную. Стол, тарелки, холодная керосинка... На месте, где обычно сидела она сама, у ее прибора лежала узенькая записка. Все еще волнуясь, Маргарита поднесла ее к глазам: «Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич». И вот когда она прочла это не конспиративное, а почти домашнее «Ильич», страх отступил. Она взглянула на часы: может быть, опоздала? Нет, стрелка еще только приближалась к одиннадцати, а чернила еще по-настоящему не засохли. Значит, недавно. И все же, несмотря на дьявольскую усталость, в квартире одной было оставаться жутковато. Маргарита положила в сумочку спички, замкнула квартиру, спустилась по лестнице и заколебалась: конечно, надо бы ехать в райком, предупредить, но она поедет в Смольный.

(Маргарита тогда еще не знала, что приблизительно в это же время ЦК поручил сотруднице Секретариата Т. А. Словатинской срочно разыскать Надежду Константиновну и через нее передать В. И. Ленину, чтобы он прибыл в Смольный.)

В Смольном Маргарита нашла своего бывшего жильца

в сотой комнате. Владимир Ильич уже снял парик и был без пальто. Маргарита не стала подходить к нему, а лишь взглянула — жив! И сразу почему-то подумала, что она «безработная». Навалилась нечеловеческая усталость. Она вышла из комнаты, зашла в какую-то другую и сразу же, будто за этим сюда и шла, прилегла на широком низком подоконнике. Хотя бы минут на десять.

...Она вернулась домой, поставила чайник и не раздеваясь, пока чайник закипит, повалилась на диванчик. В шесть утра в квартире раздался звонок. Маргарита, не открывая глаз, подошла к двери и спросила уже без всякой конспирации: «Кто?»

Это была Надежда Константиновна. «Где он?» — спросила Крупская. Возясь с замками, Маргарита ответила: «Он в Смольном». — «Не открывайте дверь, Маргарита, — сказала Надежда Константиновна, — я поехала в Смольный». Маргарита нащупала спички, зажгла свет: вся квартира была в чаду. Выключила керосинку и снова легла спать. В Смольный она попала вновь лишь поздно вечером.

А на следующий день, 26-го, ее разыскали *. Владимир Ильич дал шоферу записку: «Шофер машины. Везите тов. Фофанову, куда она вам укажет. Ленин». Дело в том, что у Владимира Ильича еще оставался ключ от квартиры на Сердобольской. Мария Ильинична уже ездила туда за нужными материалами, но их не разыскала. Пришлось ехать еще раз.

Маргарита прекрасно помнила эту газету, расчерченную синим и красным карандашом. Неделю назад она сидела и работала в столовой за письменным столом. За обеденным — под большой лампой сидел ее времен-

* Этот эпизод автор рассказывает по большой стенограмме, сделанной в 1935 году С. А. Безбахом для Музея В. И. Ленина в Ленинграде.

ный жилец и гость. И вдруг она слышит: «Маргарита Васильевна, идите сюда, посмотрите, что я разыскал!» Маргарита подходит и наклоняется к газете, расчерченной красным и синим. «Вот прекрасная почва для соглашения с левыми эсерами. И для нас есть маленькая заручка».

Это был 88-й номер «Известий Всероссийского Совета крестьянских депутатов» от 19 августа, где была помещена сводка наказов, составленная на основании 242 наказов с мест депутатам I Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов в Петрограде. Эта «заручка» была в третьей и четвертой статьях «Крестьянского наказа о земле» — крупные высококультурные хозяйства, по мысли крестьян, должны были передаваться в исключительное пользование государству или общине. Вот противовес эсеровскому уравнительному землепользованию, которое они противопоставляли большевистской национализации, называя это землепользование «социализацией». Ее неутомимый жилец сказал тогда: «Это лучший материал для суждения о том, что хотят крестьяне. Крестьяне требуют отмены права частной собственности на землю, обращения всей частновладельческой земли во всенародное достояние безвозмездно, конфискации всего хозяйственного инвентаря, «живого и мертвого», а партия эсеров составила проект, не уничтожающий помещичьей собственности, а передающий только часть помещичьих земель во временный арендный фонд».

Отыскалась эта газета в стопке на этажерке в углу, и привезли ее, когда Владимир Ильич уже был на трибуне и делал доклад о земле. Маргарита сбоку подошла к трибуне и, стараясь остаться незамеченной, положила газету перед Ильичем. На мгновение, не переставая говорить, он перевел взгляд на Маргариту. Ей почудились в этом взгляде та доброта и признательность, которые совестливый человек часто не может выразить словами.

В. И. Ленин так и не дописал своей книги «Государство и революция».

Уже после октября 1917 года, сдавая рукопись в набор без последней главы, Владимир Ильич снабдил ее коротким послесловием.

«Настоящая брошюра написана в августе и сентябре 1917 года. Мною был уже составлен план следующей, седьмой, главы: «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов». Но, кроме заглавия, я не успел написать из этой главы ни строчки: «помешал» политический кризис, канун октябрьской революции 1917 года. Такой «помехе» можно только радоваться. Но второй выпуск брошюры (посвященный «Опыту русских революций 1905 и 1917 годов»), пожалуй, придется отложить надолго; приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

Наверное, этим все и сказано; теория лучше и точнее всего подтверждается практикой.

Вот и приходится прощаться с полюбившимися мне людьми. Но нет прощанья, потому что все, что я прочел, работая над этой книгой, теперь со мною надолго, навсегда. Соизмерять свою жизнь с людьми, о которых писал. С их бескорыстием, умением подчинять себя общему интересу, их волей, мужеством, отважной и победительной честностью. Это наш долг перед ними. Перед великой революцией.

Впрочем, чувствую, что это не последняя встреча; уже заманчиво брезжут новые замыслы, позволяющие еще раз прикоснуться к дорогим для меня и миллионов моих сограждан именам. Но должно пройти время, чтобы вновь зазвучали их голоса...

Прощаясь с этой книгой, отдавая ее на суд читателю, я не могу не вспомнить и о своих бескорыстных помощниках — сотрудниках филиалов Центрального музея В. И. Ленина и Центрального музея революции в Ленинграде, об А. А. Коротковой, Н. В. Александровой, М. А. Филичевой, Н. М. Симанкове, Ж. А. Столяровой; я благодарен за советы старшим научным сотрудникам ИМЛ при ЦК КПСС Л. Б. Виноградовой и Р. З. Юницкой, не могу не вспомнить и о книгах и работах Х. М. Астрахана, Ю. Ф. Дашкова, А. М. Совокина, В. И. Старцева и многих других ученых-историков, обширными материалами и наблюдениями которых мне удалось воспользоваться.

Внимательно ознакомился я с «Воспоминаниями о Ленине» Н. К. Крупской.

И конечно же еще и еще раз внимательнейшим образом с карандашом в руке читал многие гениальные работы Владимира Ильича. Это было чтение тем более полезное и увлекательное, что одно из хранящихся в семье изданий собрания Сочинений В. И. Ленина — очень старое, двадцатых годов, — все испещрено знакомыми пометками: в семье эти книги читает уже третье поколение.

Какое богатое и крепящее душу чтение!

Оглавление

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АВГУСТЕ .	5
ПИСЬМА ИЗ ГЕЛЬСИНГФОРСА .	71
ОДИН ДЕНЬ В ОКТЯБРЕ .	149



Скан: Посейдон-М



Обработка:Prizrachyy_Putnik

Сергей Николаевич Есин

ДОРОГА В СМОЛЬНЫЙ

Заведующий редакцией *К. К. Яцкевич*

Редактор *Н. Б. Чунакова*

Младший редактор *Л. Г. Еремина*

Художник *И. И. Блиох*

Художественный редактор *Г. Ф. Семиреченко*

Технический редактор *И. А. Золотарева*

ИБ № 4619

Сдано в набор 13.08.84. Подписано в печать 21.01.85. А 00013.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,50. Усл. кр.-отт. 21,70 в переплете,
21,53 в обложке. Уч.-изд. л. 10,55 в переплете, 10,69 в обложке.

Тираж 200 000 (1—100 000) экз. Заказ 4765. Цена 55 к. в переплете,
45 к. в обложке.

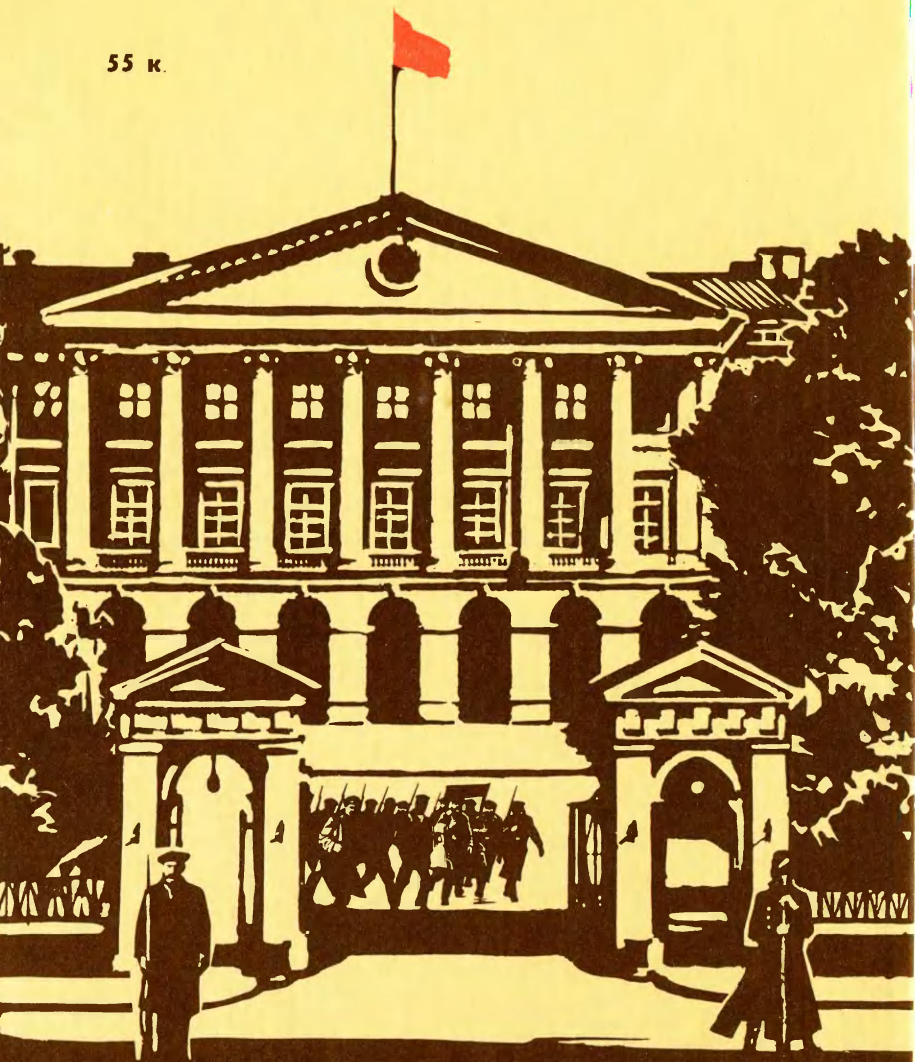
Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».

103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



55 к.



ПОЛИТИЗДАТ

Сергей ЕСИН ДОРОГА В СМОЛЬНЫЙ